

Дина Рубина

Жилаю щастя.
Афтор



Малая проза (Эксмо)

Дина Рубина

Жилаю щастя. Афтор (сборник)

«Автор»

2017

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Рубина Д. И.

Жилаю щастя. Афтор (сборник) / Д. И. Рубина — «Автор», 2017 — (Малая проза (Эксмо))

В книгу «Жилаю щастя. Афтор» входят эссе, рассказы и монологи, написанные Диной Рубиной в девяностые годы. Расширяется география жизни: в конце 1990-го автор вместе с семьей переезжает в Израиль. Расширяется география творчества: произведения Рубиной публикуются не только в российских («Новый мир», «Знамя», «Дружба народов»), но и в иностранных журналах, писатель выступает по всему миру. В качестве литературного редактора она начинает сотрудничать с еженедельным литературным приложением «Пятница» к русскоязычной газете «Наша страна». Работа позволяет Дине Рубиной соприкоснуться с совершенно особенным жизненным материалом – судьбами тех, у кого оказалось две родины. Яркой чертой творчества этого периода можно назвать пристальное внимание к чужой речи, ее звукам, строю, ритму, чуткую восприимчивость к сюжетам, перипетии которых не имеют ничего общего с выдумкой.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Рубина Д. И., 2017
© Автор, 2017

Содержание

Предисловие	6
Эссе	9
У писателя	9
Я – офеня	11
Под знаком карнавала	18
«Я не любовник макарон», или Кое-что из иврита	25
Иерусалимский автобус	30
Дети	35
Я кайфую	40
Противостояние	43
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Дина Рубина

Жилаю щастя. Афтор (сборник)

© Рубина Д., 2017

© Fold&Spine, разработка серии, 2017

© Николаева Ю., иллюстрация на обложке, 2017

© Оформление. ООО «Издательство «Э»», 2017

* * *

Предисловие От первого лица

1

Эти странные картинки «за жизнь», торопливые картинки из записной книжки, которые – считала я – и права быть опубликованными не имеют, возникли так давно, что, называя год и обстоятельства, я обязана кое-что обстоятельно пояснить. Время было такое: 90-й год, судьбоносный для моей семьи, – год эмиграции и... первой войны в Персидском заливе, когда объектом агрессии иракского диктатора Саддама Хусейна стал не только соседний Кувейт, но и расположенный за тысячи километров и не причастный к конфликту Израиль. (Тогда мы еще не знали, что для агрессии против Израиля вовсе не обязательно, чтобы он был к чему-то причастен, и думали, что это недоразумение большой политики.)

Мы приземлились в аэропорту Бен-Гурион – крошечной частью того миллиона, который обрушился на Израиль, – очумевшие, ног под собой не чувявшие. Получили каждый по противогазу (надо было внимательно слушать солдатика, едва соединявшего пять русских слов, как пользоваться этим сооружением: как натягивать, застегивать, как не задохнуться... Борис бодро сказал: «Ни черта не изменилось, все, как у нас в армии!»)...

И с четырьмя этими противогазами мы начали новую жизнь в новой стране. Сняли квартиру на последнем этаже (опять Борис и так же бодро: «поближе к бомбам!»), обклеили по инструкции окна, загерметизировали одну из комнат. И каждую ночь по сигналу воздушной тревоги натягивали противогазы на детей, на себя и пережидали очередную порцию этой увлекательной новой жизни.

Кажется, недели через две мне позвонили из Москвы. Это был мой давний знакомый, редактор газеты «Иностранец».

– Дина, – сказал он оживленно, – мы вот тут подумали и хотим предложить вам написать для нашего издания серию очерков об Израиле.

Я засмеялась:

– Вы с ума сошли. Какие очерки? Я ничего не знаю об этой стране. Сижу дома, каждую ночь надеваю противогаз. Вот, из окна наблюдаю, как странный человек в черном лапсердаке и черной шляпе, с развевающимися локонами вдоль щек наяривает на велосипеде. Языка местного не понимаю. Слышала только слово «бэседэр», но не знаю, что оно означает.

– Так это же замечательно! – завопили в трубке. – Это чистый эксперимент! Вот и напишите про то, как вы сидите в противогазе, как едет на велосипеде странный человек в шляпе и лапсердаке, как вы ни черта не знаете и ничегошеньки не понимаете в новой жизни! И постепенно мы вместе с вами начнем что-то в ней понимать.

Я положила трубку и задумалась... Не сразу, конечно, но месяца через полтора, когда закончилась эта странная война и мы сложили противогазы в коробки и поставили их на антресоль, когда я вышла из дома и села в автобус номер тридцать пять, следующий в центр Иерусалима... когда внутри, как бывает у писателя, что-то щелкнуло и я увидела лица, старые столбы, базарные ряды, а главное – моих новых удивительных соотечественников... – тогда я задумалась по-настоящему о предложении моего приятеля из «Иностранца». Я ведь и была здесь той самой иностранкой, пока лишь иностранкой, гово-

рящей на совсем ином языке. И жизнь этого общества, описанная моим языком странного пришельца, как раз и могла быть интересной для российских читателей.

Как сейчас помню, первый ряд картинок, который мне пришло в голову назвать легким и необязательным словом «эссе», назывался «Иерусалимский автобус»... Этот самый ряд картинок, сопровождаемый вполне банальными рассуждениями, был встречен с каким-то неистовым восторгом и вызвал шквал писем в редакцию. Это меня ободрило, и я застрочила, тем более что жизнь продолжалась, впечатлений прибавлялось... Впечатлений обо всем: о здешних детях, здешних взрослых, о транспорте, о магазинах, о политике, об образовании... – обо всем, что окружает человека нового, явившегося из совсем другого мира.

Так подряд несколько лет я и писала разные эссе, все большие вникая в свою собственную новую жизнь. И с написанием последнего поняла, какой длинный путь мною пройден. Вот это был опыт!

Опыт эмигранта, чужака; оппонента и соглядатая – то есть русского писателя за границей.

2

Что касается свободной речи, не изгвазданной авторскими ремарками: всю жизнь мечтаю написать книгу монологов. Люблю слушать рассказы от первого лица...

Знаете, как это бывает? Когда полужнакомый или совсем незнакомый человек, оказавшись с тобой в поезде, в самолете или за одним столом где-нибудь в санатории, начинает разговор с нескольких ничего не значащих фраз, а потом, ощутив неподдельный интерес, вначале смущаясь, потом все оживленней, волнуясь и полностью погрузившись в собственную торопливую речь, принимается рассказывать тебе то, что не всегда поведал бы и близкому другу.

Самые искренние, самые безоглядные монологи, это особого рода откровенность: откровенность отчаянная, окончательная – ведь давно известно, что выговориться полностью можно только перед тем, кого ты вряд ли встретишь в дальнейшей жизни. А если встретишь, вы оба сделаете вид, что того разговора, того распахнутого сердца попросту не было. Но в те минуты, когда звучит одинокий голос, ближе людей, чем рассказчик и слушатель, нет на свете.

Вот это – мой идеал рассказа-монолога: одинокий страстный голос, безоглядно доверчиво ведущий рассказ о своей судьбе. Чтобы в те минуты, когда читатель открывает книгу и становится единственным слушателем, кроме нас двоих, никого бы не существовало...

Я много путешествую. Вернее – разъезжаю по своим надобностям, сталкиваясь с разными людьми. За последние лет двадцать изрядная часть бывшего советского народа растеклась, разбежалась, разъехалась по всем частям света; каждый пережил некий период, называемый глухим словом «эмиграция», – период отчаяния, ненависти, эйфории, тоски и вновь эйфории, и вновь отчаяния... У каждого за пазухой история, важнее и драматичней которой, как считает он сам, еще не бывало и которую проезжий писатель просто обязан выслушать и запечатлеть. Очень часто после моих выступлений ко мне подходит некто, склоняется над столом, за которым я подписываю книги, и интимным голосом произносит: «Вот тут мой телефон... Захотите услышать потрясающую историю жизни – позвоните».

Иногда я звоню. И слушаю... Чаще всего «потрясающая история жизни» означает рутинную борьбу эмигранта за место под солнцем в новой стране. Но иногда... Иногда, очень редко, встречается действительно перл Судьбы, да еще хорошо рассказанный, так,

что интонация собеседника долго в тебе звучит, тревожит и не отпускает, пока ты не запишешь этот требовательный страстный монолог.

Мои записные книжки полны подобными монологами, что ожидают перевоплощения в «рассказ от первого лица». И я, захваченная идеей очередного романа, мысленно даю себе слово, что обязательно засяду, когда-нибудь засяду за целую книгу монологов, в которой зазвучат человеческие голоса, переплетаясь, плача, смеясь, радуясь внимательному слушателю...

Пусть они перекочуют из записных книжек такими, как вылились и были наспех записаны ручкой или карандашом, в самолете, поезде, на скамейке в парке.

И ничем я, автор, не стану перебивать «одинокий человеческий голос». Ни единым словом. Пусть льется, пусть зависает в паузах, пусть читатель услышит в этих паузах стук беззащитного человеческого сердца.

Дина Рубина

Эссе (1990–1999)

У писателя

У писателя, как у любого мастерового человека, после окончания серьезной работы всегда остаются отходы производства: не вошедшие (по разным соображениям) в повесть, рассказ или роман эпизоды, образы, диалоги, детали... Все это годами копится в блокнотах и записных книжках, «остывает» – ведь ты отдаляешься во времени от написания своих вещей – и, наконец, забывается...

Но иногда, случайно, наткнешься вдруг на такой неиспользованный образ или диалог – и задумаешься, и обязательно мысль побежит дальше, дальше, отыскивая новые дорожки, рождая новые ассоциации. И давние какие-то картинки, давние слова или детали вдруг освещаются совсем с другой стороны. Вернее, на них просто падает отсвет сегодняшнего дня. Эге, думаешь ты со сметкой мастерового, а ведь эта рухлядь еще может послужить...

У нас во дворе – а это был большой двор большого южного города (о Ташкенте мне еще предстоит написать) – жили самые разные личности, которые как-то запоздало проявляются сейчас в моей памяти (так медленно в ванночке с проявителем возникают на фотобумаге человеческие лица). Мне даже интересно – где они до сих пор пребывали, если много лет я о них не то что не вспоминала, но даже не подозревала, что помню, даже не подозревала, что они существовали...

Так вот, эти люди проявляются, двигаются, живут и, главное, изрекают что-то, что вдруг изумляет меня сегодняшнюю, озаряет тот или иной затененный уголок памяти и даже ненавязчиво подсказывает ответ на иной мучающий меня вопрос.

Так вот, в нашем дворе среди прочих фигур и лиц разной плотности (ведь речь идет о моей памяти, то есть о царстве теней) жил пожилой балбес Коля Шендерман. Биография у него была бурная, но не романтически, а идиотски бурная, многожды он сидел по самым дурацким поводам и в конце концов пристроился грузчиком на овощной склад. Из ворованных, как я понимаю, фруктов его старая мамаша варила в огромном зеленом баке компот, который потом, сидя у ворот, Коля продавал в жаркий день в розлив на стаканы.

Ему говорили:

– Немного имеешь с базы, Коля, а?

Он бодро отвечал:

– Чего там имею! Усушка-утруска, падалица... Товар на выброс.

А был еще Залман, человек с трясущимися руками. Он работал где-то в пригороде, в каком-то подпольном еврейском цеху, где шили подушки. Цех, разумеется, работал на левом сырье, краденном с какого-то крупного предприятия. Так вот, Залман утаскивал оттуда разной величины обрезки (то есть крал отходы однажды уже украденного, возводил преступление в степень или, наоборот, отменял одним преступлением другое – минус на минус, – в этом тоже есть что-то экзистенциальное, а? Во всяком случае, есть над чем подумать) и своими трясущимися руками шил каких-то зверушек – слоников, собачек, – которые во дворе и окрестных переулках пользовались успехом.

– Человек с руками, – говорил он, – берет лоскутки-обрезки и делает полезную вещь...

Кстати, до сих пор, когда я слышу про кого-то – «человек с руками», я представляю трясущиеся руки Залмана.

И был дядя Фима, плотник, честнейший, но всегда пьяный человек, он мастерил вертушки. Если кто не знает – объясняю. Объясняю, потому что не уверена, что это не специфически ташкентская игрушка.

Итак: берем две палочки, делаем – как в детстве говорил мой сын – «наш советский крест» и на трех концах кнопочками или гвоздиками слабо прикрепляем розочки из скрученной разноцветной фольги. Чем быстрее бежишь, тем яростней и веселей вертятся розочки. Вертушка стоила полтинник или тридцать копеек. Дядя Фима считал это пустяковым приработком и все пропивал.

– А! Счепочки... – бормотал он...

Однажды, разбирая свою тумбочку со старыми папками, афишами, блокнотами и записными книжками и вынужденная сортировать весь этот хлам, я была поражена и даже растеряна количеством всевозможных «отходов производства». Я листала страницы записных книжек и натыкалась на давно забытые историйки, мимолетные образы, случайно подсмотренные гримасы, случайно подслушанные фразочки, незавершенные сценки. Как в мастерской формовщика, валялись вокруг меня чьи-то руки, головы. Только не гипсовые, а живые, давно подсмотренные, описанные и позабытые. «Непорядок», – подумала я, будучи человеком мастеровым, то есть хозяйственным.

Выяснилось, что на материале этого барахла отлично думается, рассуждается, вернее – «разговаривается»... Что один образ или мысль тянет за собой другие, и получается довольно интересный разговор на ту или иную тему... а по жанру какое-то недоразумение: очерк не очерк, эссе не эссе, а что-то литературно беспородное, лохматое, домашнее...

После третьей или пятой такой вещицы я задумалась: как же все-таки это обозначить? «Назови “свободный полет”», – посоветовал муж. «Да ну, – возразила я, – уж точнее будет “свободный треп”».

Эти легкие, не обремененные «мучительными вопросами бытия» вещицы я стала читать на своих выступлениях, и вскоре обнаружилось, что публика относится к ним благосклонно.

Более того.

– Почему бы вам не опубликовать все это, – убеждают меня. – Это и забавно, и грустно, и поучительно. Из таких вот непритязательных картинок складывается общая картина жизни и даже в чем-то проясняется и детализируется картина эпохи.

И все-таки я долго не решалась включить в какую-нибудь свою книгу этот «свободный треп».

Не могу отнестись всерьез к отходам, даже когда они меня кормят. Видно, так уж устроен мастеровой человек. Вторсырье для него изначально понятие бросовое. Поэтому, стесняясь, я решила отделить, выгородить в небольшую книжку отходы своего производства, полагая все же, что некоторую пользу они принести могут.

– Усушка-утруска, – бормочу я, перелистывая страницы давней записной книжки, – лоскутки-обрезки... Щепочки...

Я – офеня

Поем мы или играем, пляшем или пишем, читаем лекции или рисуем картины, суть одна: мы как есть трубадуры, и давайте хоть без особой чести выходить из этого положения.

О. Генри.

«Последний из трубадуров»

Офеня: ...ходебщик, контюжник, разносчик с извозом, коробейник и мелочник, щепетильник, торгош в разноску и в развозку по малым городам, селам, деревням, с книгами, бумагой, иглами, сыром и колбасой, серьгами и колечками.

В.И. Даль

Я – офеня.

Сыр и колбаса, положим, нарезаны на бутерброды и лежат в сумочке на случай опоздания самолета (поезда, автобуса), серьги в ушах, а колечки – на пальцах... но в остальном я, конечно, тот самый ходебщик, торгош в разноску и в развозку по малым и большим городам. То есть я – разъездной себе литератор, промышляющий на собственных вечерах продажей собственных книг. Такова реальность моего бытия.

На этих днях в Москве у меня выходит книга. По договору с издателем я должна получить определенное количество экземпляров. Моя московская приятельница ругает меня по телефону.

– Почему вы не настояли на гонораре! – возмущается она. – На черта вам книги сдались, торговать вы ими станете, что ли?

И я, запнувшись на мгновение, смущенно:

– В общем-то... да. Стану.

Вернулся из очередной гастрольной поездки Игорь Губерман, позвонил и сказал:

– Чего ты сидишь? Езжай в Германию, там сейчас все только разворачивается, куча нашего народу подвалила. Заработаешь, я наводки дам. Дранг нах Остен, – говорит. – Гот мит унц, Германия превыше всего.

– Ты-то как съездил? – спрашиваю.

– Сорок концертов. Теперь, – говорит, – я понимаю, почему публичные девушки наутро бывают угрюмы... Ты после окончания турне не сразу возвращайся, добавь себе дня три.

– На музеи-экскурсии? – спрашиваю.

– Какие музеи! Будешь спать и пить. Пить и спать. Чтоб расслабиться.

– Чего пить? – не поняла я.

– Водку, дура! – проговорил он устало.

...Иногда я думаю – ну что ж, ведь вот и артисты живут этой собачьей разъездной жизнью, и ничего, радуются гастроям, выходу на сцену, лицам в зале...

Хотя и у них всякое бывает. Актер Женя Терлецкий рассказывал, как однажды они с театром возвращались поездом в феврале из Сочи с довольно неудачных гастролей.

Вышел он в тамбур покурить, а там в характерной такой присядке – на корточках – сидит ну явно уголовный элемент и тоже курит. И Женька стоит, курит. Тот спрашивает – что, мужик, хмурый такой? Женька говорит – мол, так и так, возвращаюсь с неудачных гастролей.

Тот присвистнул, сплюнул:

– Ну ты даешь, мужик! Кто же в Сочи в феврале на «гастроли» ездит!

А когда Женька, улыбнувшись, объяснил, что это за гастроли, тот задумался, покивал:

– Интересная у тебя профессия, мужик. Вот у меня братан артист, так я его пять лет не видел и ни хера не соскучился!

Нет-нет. Актерство – другая профессия, другой темперамент, иные приводные ремни к тому, что называется мироощущением. Писатель – профессия оседлая, сокрытая, непубличная.

А у меня еще и характер «оседлый». Даже мысль о скором отъезде приводит меня в страшное раздражение. Когда уезжаю, а потом возвращаюсь, я долго привыкаю к собственному дому, долго вспоминаю – куда подевала нужные бумаги и вещи... Почему-то любой отъезд, любая, даже краткосрочная, отлучка у меня – «прервалась связь времен»... К тому же, по моему глубокому убеждению, писателю вообще негоже показываться публике на глаза.

Не в том смысле, что – «ты царь, живи один», а в том, что для работы это ничего не дает. Только вредит. Публике ведь не считаешь новый роман страниц на четыреста, на который ты ухлопала несколько лет жизни. Публику утомлять не след, вот и кувыркаешься. Читаешь коротенькие забавные рассказы пятнадцатилетней давности, от многократного чтения которых у тебя вырабатывается стойкий рвотный рефлекс. Повторяешь зазубренные «связки», травишь байки, якобы только что пришедшие на память. Изображаешь во все лопатки живой увлекательный диалог.

А в это время боковым таким, ироничным сознанием память бежит-бежит, выхватывает из своих запасников и показывает тебе же полузабытые картинки. Например, пьяную тетяГалю между двумя потоками несущихся машин.

Она жила у нас во дворе, опустившаяся Мальвина. Была простой милой женщиной. Убирала «по людям». Вымоет одну квартиру, получит рубль, вымоет вторую – второй рубль, вот она и счастлива. Выпьет бормотухи и «выступает». Буквально, не в переносном смысле: любила выступать.

Пела высоким ломким голосом романсы и советские песни, особенно Пахмутовой. Для этого выбирала возвышение – интуитивно понимала, что номер требует сцены.

Обычно это бывало крыльцо нашего подъезда или ступени гастронома в доме напротив. Иногда она взбиралась «на фонарь» – посреди двора стоял деревянный столб с несколькими железными скобами. ТетьГаля залезала на две-три скобы (это было достаточно высоко и опасно, спьяну можно было грохнуться и кости переломать), одной рукой держалась за железную скобу, другую простирала к зрителям, широко поводила ею в такт мелодии... А любимый номер был «ласточка».

Выходила в центр двора или на площадку перед гастрономом, или даже на проезжую часть дороги и делала «ласточку»: стоя на одной тощей ноге, поднимала другую, наклоняла корпус, разводила в стороны прямые руки, гордо, как флагман нового мира, задирала голову со свалывшимися кудряшками... ну, это известная гимнастическая фигура.

Однажды я заступилась за честь тетяГали. Она, помню, напилась и выступала на проезжей части оживленного шоссе, делала «ласточку» меж двумя потоками несущихся на большой скорости машин. По сторонам шоссе собралась толпа, люди показывали пальцами, хлопали, смеялись. По испитому лицу тетяГали видно было, что она счастлива, она – настоящая артистка, успех, успех! Какая-то приличная женщина в пальто из шерсти модной в том сезоне ламы остановилась рядом со мной, вздохнула, покачала головой:

– Ну, до чего люди бессовестные, безжалостные. Над больным человеком смеются.

– Она не больная! – огрызнулась я.

– Как не больная! – ахнула дама. – Настоящая душевнобольная. Сумасшедшая.

– Кто – сумасшедший? – спросила я оскорбленно. – Она сумасшедшая?! Да она поумнее вас будет.

Тогда я, конечно, не догадывалась, что во мне взмыло и затрепетало чувство цеховой солидарности.

Господи, знала бы давно покойная тетя Галя, как часто вспоминает ее хмурая девочка из третьего подъезда. Ведь мне, на моих «выступлениях», бывает, и петь приходится, если, конечно, песня попадает в текст рассказа. А может, на старости лет я и до «ласточки» доживу? Кстати, довольно живо себе это представляю.

Теть Галя, добрая, пьяная Мальвина, заступись там за меня, на своих – не сомневаюсь – райских подмостках!

Тому же Игорю Губерману я пожаловалась однажды, что чувствую себя заезженной патефонной пластинкой. Он сказал:

– Старуха, хорошо тебе! Я себя жуликом чувствую.

Кстати, о жуликах. Совсем недавно я обнаружила, что у меня есть конкурент.

Мой сын, охламон и неуч, когда остается без гроша в кармане, тайком приторговывает моими книгами. Он даже подписывает их: «Жилаю щастя. Афтор» (русский язык основательно подзабыл с тех пор, как его привезли сюда в небольшом возрасте).

Одну такую книгу – непроданную – я случайно обнаружила в его рюкзаке, который опорожняла перед стиркой. Был скандал. Я закатывала глаза и кричала: «Будешь торговать ими на моей могиле!!!» В семейных скандалах я обычно являю собой дворовую одесскую фурию.

Потом любопытство (афторское) взяло верх, и я долго допытывалась: где он ловит доверчивых читателей? – хватает за рукава на центральной автобусной станции? Звонит в квартиры, зазывно улыбаясь, как страховой агент? Наконец, потупившись, он раскололся: объяснил, что приставал к пассажирам в автобусах, заводил разговор о литературе, о том, что в наше время, в нашем потребительском обществе интерес к ней сохранился только в среде подлинной интеллигенции. И если человек подхватывал эту песню, интересовался: кого из современных писателей тот предпочитает. Далее он мне клялся, что каждый пятый предпочитал мои книги. Зато попались три оголтелые тетки, которые, трясаясь от ненависти, заявили, что задушили бы меня собственными руками. «Наверное, прототипы...» – удрученно вздохнув, объяснил сын.

Я вообразила лицо какого-нибудь своего читателя в тот момент, когда с благодарной улыбкой он раскрывает книгу и упирается в «Жилаю щастя. Афтор». И расхохоталась. И долго хохотала раскатистым звонким безумным смехом, понимая, что и жизнь моя протекает вполне в жанре моей прозы.

Я – офеня и потому должна рекламировать и расхваливать свой товар. Например, читать из своих книг какие-то забавные эпизоды, завлекать и развлекать публику. Как зазывала перед кукольным театром на ярмарке. В конце выступления обязательно оставляю время для ответов на вопросы. Обычно могу предугадать все вопросы, которые зададут мне из зала. Впрочем, тут играет роль «специфика страны». В Америке мне часто кричат из задних рядов надтреснутым старческим голосом: «Не отдавайте ни пяди нашей земли!» – этих я обожаю. А прошлой осенью в Германии (пролетающие за окном вагона горящие золотом и багрянцем леса Саксонии, тонконогие немецкие кони, лакированными гребнями воткнутые в изумрудные луга) я, как пророк Самуил, отвечала на два главных вопроса: «Правда ли, что Михаил Козаков вернулся в Россию?» и «Как в Израиле относятся к российским евреям, уезжающим жить в Германию?»...

Часто из зала присылают укоризненные записки насчет неумеренного употребления мною в прозе неформальной лексики. Выглядят они так: «Вы такая милая интеллигентная

женщина и устно, смотрю, не ругаетесь. А вот в книгах встречаются бранные словеса. Зачем это вам?» или «Что ж вы, прям как Губерман! Ну он-то хоть мужчина...».

Такие записки я тоже очень люблю, так как они открывают простор для свободного трепа – вещи, очень важной на выступлениях, дающей зрителям ощущение необязательной живой беседы, легкой импровизации... Откуда слушателям знать, что на этот надоевший стандартный вопрос есть у меня научно обоснованный, многожды апробированный, снабженный байками ответ. Немного истории, немного о Баркове, об Афанасьеве, о великом знатоке русского мата Иване Алексеевиче Бунине... две-три байки, высмеивающие ханжество... и через пять минут чопорная публика доброжелательно и снисходительно смеется...

И вот нынешней весной в Америке (рогатый даун-таун Чикаго, малиновые кусты бересклета в парках, белки, выписывающие в траве пушистые пунктирные дуги), когда я выступала в некоем богемном заведении на Брайтон-Бич, из зала приходит записка (которую, надо сказать, я всегда жду с нетерпением): «Вот гляжу на вас, и сердце радуется: и скромная, и веселая, и культурная... А книжку вашу откроешь – там ведь и ругань попадается. Как же так?»

Вдохновленная поводом для «импровизации», я подняла голову, дабы привести в действие все имеющиеся в наличии орудия, и... обомлела: передо мной на противоположной стене полуметровыми буквами было начертано известное заборное слово из трех букв, обведено кругом и перечеркнуто на манер дорожного знака. Под картинкой было написано: «У нас в ресторане не матерятся!»

Плохо то, что языков не учила в школе. Все как-то «Этюды» Черни вспоминаются, особенно когдаходишь к окошечку железнодорожной кассы и начинаешь заискивающе мычать, глядя в голубые глаза вежливой немки. Впрочем, на уровне «твоя-моя» я все же пытаюсь объясняться, только слова путаю. В английском, например, путаю «джус» (сок) и «джуиш» (еврей) и, бывает, вгоняю в ступор подошедшую официантку, вежливо требуя вместо апельсинового сока принести оранжевого еврея. В немецком того хуже: путаю слова «гляйс» (платформа) и «ляйхе» (труп), в связи с чем несколько раз приставала к полицейским на вокзалах с просьбой помочь мне найти второй (или третий, или девятый) труп.

Вообще, забавную жизнь ведет наше подсознание, а ассоциативная память выкидывает коленца, каких врагу не пожелаю. Я, например, всегда панически боюсь опоздать на свое выступление. Навязчивая идея, мания опоздания.

Просто в далекой юности я подхалтуривала от «Общества книголюбов» в седьмых классах школ на предмет ознакомления их с вершинами отечественной поэзии. Например, читала стихи Велимира Хлебникова. Член Союза писателей стоил в то время пятнадцать рублей, минус рубль двадцать подходящий налог. Выгодно было проехаться сразу по трем школам.

Человек я пунктуальный, и, бывало, чтоб не опоздать, торопилась с трамвая на троллейбус, с автобуса на метро... и всегда успевала. Но однажды я все-таки опоздала. И когда подходила к дверям 7-го «А» класса, навстречу мне повалила прыщавая толпа с радостными воплями: «Ура!! Актерка сдох-ла!!»

С тех пор я предпочитаю не опаздывать.

В своих каторжных путешествиях веду жизнь переносной кладки. Незнакомые добрые люди встречают меня в пункте А, снимают с самолета, везут к себе, кормят, ставят под душ; затем, надев чистую блузку и концертный пиджак, я предстаю пред свежей публикой. После чего добрые люди сажают меня по направлению к пункту Б, где уже другие добрые люди снимают меня с самолета (поезда, автобуса), везут к себе, кормят, ставят под душ и т. д.

В далекой моей, отнюдь не конвенциональной юности был такой персонаж – Ленька Вайнтруб. Был он немножко гипнотизер, немножко фокусник, немножко экстрасенс. Работал от подмосковной филармонии на азиатскую провинцию, этим кормился. Звонит, бывало, в Коканд, договаривается насчет гастролей, приходит ему служебная телеграмма: «Приглашается Вайнтруб гастроли Коканд гарантируем оплату оба конца». Или с Ургенчем договаривается. Приходит телеграмма: «Приглашается Вайнтруб гастроли Ургенч», ну и так далее...

Однажды договорился с филармонией города Андижана. Приходит телеграмма: «Приглашается Ваш труп гастроли Андижан гарантируем доставку оба конца».

И вот сколько лет прошло, хохма устарела, Ленька постарел, да и все мы – бывшие юные хохмачи – стали дядьками и тетками не первой свежести. А вот – неизменно – выхожу в аэропорту, умоляющими беспомощными глазами нащупывая встречающих, а где-то там, с самого доньшка ассоциативной памяти обязательно всплывает: «Приглашается Ваш труп...»

К тому же меня мучает вопрос: не стала ли я уже свадебным бараном? В Узбекистане, где я родилась, невест покупают. Как и везде на мусульманском Востоке. Калым – называется «выкуп». Помню, в далеком детстве кто-то из жителей нашей махалли перед свадьбой купил на базаре ягненка, предназначенного в уплату за невесту. Свадьба прошла, и в следующий базар родители невесты продали ягненка очередному жениху. Так с тех пор и пошло. Ягненок вырос, превратился в барана и все продолжал разъезжать по свадьбам. Праздная жизнь плохо сказалась на его характере, он стал наглым, дрался с собаками и женихом. И любил разъезжать на легковых машинах...

Как-то жарким летним вечером к воротам наших соседей подъехала машина. За рулем сидел дядя Лутфулла, рядом с ним – тетя Башорат, а за ней, на месте вынутого заднего сиденья, стоял калымный баран. Через боковое стекло просматривался его наглый самодовольный профиль.

– Барана купили, – сказал мне довольный дядя Лутфулла, вытирая платком потное лицо...

...Так вот, когда в очередном городе очередные милые люди встречают меня и, ласково улыбаясь, ведут к своей машине, я чувствую себя – о, не свадебным генералом, отнюдь! – скорее свадебным бараном.

...Я – офеня. И в этом есть свои положительные стороны. Например, в процессе торговли своими книгами я научилась складывать и вычитать – то есть осилила арифметические действия, до сих пор для меня недоступные. Впрочем, выше себя не прыгнешь, и я все равно напрягаюсь и цепенею, когда требуется проделать в уме одновременно несколько таких действий.

На днях позвонил знакомый, математик Аба Таратута, сказал, что какие-то его друзья из Швейцарии просят купить все мои книги... Договариваемся о встрече.

– Сколько мне взять денег с собой? – спрашивает Аба.

Я задумалась, как обычно, когда надо что-то с чем-то сложить или отнять.

В таких случаях я начинаю рассуждать вслух:

– Пойдите... одна стоит сорок, две другие по тридцать пять... Тридцать пять и тридцать пять – это... семьдесят... Сорок и семьдесят... это сколько будет?

Аба, математик, до сих пор терпеливо выслушивающий мое жалкое бормотание, воскликнул:

– Господь с вами, кто это может знать! Вам этого никто не скажет.

Я – офеня. И даже из этого я извлекаю свой писательский «навар».

От постоянных разъездов, бесконечного чередования новых лиц, новых городов, новых стран вырабатывается некий специальный взгляд не «со стороны» даже, а нездешний такой глазок, вспышка фотографическая, способность к созданию моментальных снимков. Гротескных, как правило, ибо жизнь смешна и люди нелепы, хотя и прекрасны и трогательны в этой нелепости. Когда – бродячий трубадур – я натываюсь в странствиях на «свой» персонаж, я испытываю к нему нежность людоеда, почти любовь, почти страсть. И предвкушаю, как впоследствии набью это чучело соломой. Опять же из недавнего путешествия по Германии: после выступления меня зазвали на обед, и хозяин дома – в далеком прошлом актер Куйбышевского ТЮЗа, в недавнем прошлом – чиновник Министерства культуры РСФСР, исконно русский человек, объясняет проникновенно:

– А я пошел актерским путем, путем вживания в роль. Сказал себе: «Я – немец, я вернулся на Родину и учу родной немецкий язык, и с каждым днем он будет улучшаться...»

Соловьиная песнь вожденной любви грянула в моем людоедском писательском сердце. Ах ты ж, ненаглядный мой, думала я, любуясь, немец ты мой простодушный. Воспою, воспою непременно!

Один из распространенных типов моих зрителей-слушателей – тип старого недоверчивого еврея. Один такой, в Бохуме, заявляет организатору моего выступления:

– Вот вы собираете взносы на общину... А я не знаю, куда эти деньги идут.

– А вы приходите завтра на концерт, – доброжелательно говорит координатор культурной программы, – тогда узнаете.

Тот, ровным голосом:

– Что за концерт.

Культуртрегер на подъеме:

– Выступает писательница из Израиля!

Старик тем же безынтонационным тоном:

– Что за писательница?

Культуртрегер вдохновенно:

– Замечательная писательница из Израиля!

– Израиль выпустил двух выдающихся писателей, – назидательно говорит старый еврей, – Пастернак и Бродский. Других не знаю!

В этом, довольно смешном, замечании есть своя правда. Странствующий писатель отнюдь не эстрадный певец, которому стоит лишь рот раскрыть, чтобы его по крайней мере слушали. Писатель, самый «замечательный», вовсе не обязательно – «замечательный выступальщик». Как правило, наоборот.

И вообще, в искусстве трудно бывает что-либо кому-либо доказать.

Предпочтения – вот истинная в искусстве оценочная шкала.

Мне кажется, идеально иллюстрирует это очередной «случай из моей жизни». Есть такой композитор Кейдж. У него есть фортепианная пьеса, называется «Ожидание». Исполняется она так: выходит пианист, садится за инструмент и, не прикасаясь к клавиатуре, сидит с секундомером в руке ровно три минуты сорок четыре секунды. Потом встает, раскланивается и уходит за кулисы. Такая пьеса. Такая музыка. Однажды в годы моей консерваторской юности приехал в наш город известный пианист, и мы с моим однокурсником Сенькой Плоткиным пошли на концерт. Где-то в середине программы между ноктюрном Шопена и пьесой Хиндемита объявляют Кейджа, «Ожидание». Выходит пианист, садится к инструменту, сидит... Сидит... Проходит минута, другая, на третьей минуте зал понял, что это не недоумение, пианист не забыл ноты, не помрачился рассудком, что это музыка такая. Тогда

Сенька хлопнул меня по колену и восторженным шепотом завопил: «А Пашка Егоров играл это лучше!»

Так что в искусстве, особенно в литературе, вы никогда никому не докажете, что «Пашка Егоров» не «играет это» лучше вас.

Вот еще беда: не умею давать интервью. Не умею однозначно отвечать на вопросы, самые, казалось бы, ясные, простые и определенные. Торопею и всерьез задумываюсь, пытаюсь вот в эту минуту проникнуть в суть предмета. Очень тяжело и мучительно взвешиваю слова. Может быть, потому, что ни в чем относительно себя не уверена. Постоянно, ежесекундно меняюсь на каком-то глубинном, клеточном уровне. Нет твердого мнения по многим вопросам, вернее, оно просто не успевает затвердевать. Поэтому, когда читаю собственные излияния, неделю назад записанные корреспондентом на пленку и пунктуально (я ставлю обычно такое условие) воспроизведенные на бумаге, я прихожу в отчаяние. Хоть в суд на саму себя подавай за клевету и искажение мыслей.

В связи с вышесказанным к жизни меня привязывают не фундаментальные мировоззренческие канаты, не крепко сплетенная многолетняя сеть человеческих отношений (родственных, дружеских), а такие пустяки, такая шелуха картофельная, такие фантики разноцветные, что и признаваться стыдно.

И все-таки бывают в жизни потрепанного дорожными передрягами офени свои звездные часы – полные залы, ломящиеся за книгами читатели. Бывают и «свои» неформальные, странные отношения с поклонниками творчества. Иногда от переизбытка чувств мои читатели дарят мне на выступлениях подарки: вязаные носки, керамические фигурки, маски, сумочки... Это всегда трогает меня чуть не до слез, и я стараюсь «в обмен» всучить свою книжку.

«Ну что ж, – заметил на это один мой приятель-экономист, – ты делаешь успехи. Уходишь в глубь веков. Вступаешь уже не в товарно-денежные, а в доденежные отношения».

И вот я думаю: может, недаром я – офеня? Может, это такая форма бродяжничества – там словечко подберешь, тут картинку ухватишь, здесь типаж заметишь. А заодно и книжку свою продашь, глядишь, и прокормимся.

Я и эту страну вдоль и поперек изъездила, что нетрудно. Запасешься бутербродами, сумки в руки, и – на автобус: ходебщик, контюжник, торгаш в разноску и в развозку, щепетильник и мелочник, одним словом – офеня.

А когда на спинке израильского автобуса написано фломастером по-русски: «Ася – сука», как-то уютнее чувствуешь себя на этой земле...

Под знаком карнавала

Разница между комической стороной вещей и их космической стороной зависит от одной свистящей согласной.

В.В. Набоков

Который год пытаюсь понять – что держит меня на плаву в моем небезупречном, небезболезненном и небезоблачном здешнем существовании. И думаю – его откровенная, брутальная, убийственная карнавальность. Перемена лиц, образов и масок; вывернутый наизнанку смысл существования; ситуации-перевертыши, их откровенная театральность и откровенный фарсовый идиотизм. Маски грубо размалеваны, служанка переодета госпожой, госпожа – куртизанкой, и все играют чьи-то роли. Играют грубо, упрощенно, условно, ибо ничего не поделаешь – площадной театр.

И только иногда блеснет в прорези глаз идиотской маски внимательный и насмешливый взгляд, каким смотрят на нас с портретов шуты Веласкеса.

Вот такая история.

Живет в Израиле человек по фамилии Ленский. Это еще не начало карнавала, еще не смешно. Обычная еврейская фамилия, у нас и Пушкины попадают.

Когда-то в Советском Союзе этот Ленский в знак протеста против ввода советских танков в Прагу сжег красный флаг на площади Свободы в Риге. Разумеется, его схватили, судили, дали срок, который он отсидел тютетька в тютетьку.

После чего репатриировался в Израиль, на историческую Родину, в демократическое государство, где, как он полагал, забудется страшный коммунистический сон.

Но в Израиле в то время у руля стояла Рабочая партия, у которой, как известно, на трибуне с одной стороны был национальный бело-голубой флаг, а с другой – красный.

Что там говорить. Ленский сжег красный флаг на площади Царей Израилевых в Тель-Авиве. Его схватили, судили, дали срок (надо отдать справедливость – гораздо меньший), он отбыл его и вышел на свободу. И вышел он на израильскую свободу законченным диссидентом.

Жил на так называемых «территориях», состоял в экстремистской организации КАХ, ходил с оружием, участвовал во всех антиправительственных демонстрациях (не важно – какая партия стояла у власти), а также митинговал на всех митингах. Он участвовал во всех забастовках – будь то служащие аэропорта Бен-Гурион или работники детских садов и ясель. Словом, человек сросся с карнавальным костюмом «закоренелый правонарушитель».

Стоит ли говорить, что израильская полиция и органы госбезопасности в любой заварушке привыкли тянуть за ниточку, которая приведет к вечному диссиденту Ленскому.

И вот моя соседка, работающая каким-то мелким секретарем в следственном отделе иерусалимского полицейского управления, описала мне сценку, свидетелем которой стала на днях.

Действующие лица.

Студент, юноша лет двадцати, из интеллигентной ленинградской семьи, привезенный в страну в возрасте шестнадцати лет – то есть человек, обремененный некоторым грузом русской культуры.

Офицер полиции, йеменский еврей лет сорока пяти, привезенный в страну в детстве. В любом случае никак не обремененный грузом русской культуры.

Между ними происходит следующий диалог.

Полицейский:

– Ты про Ленского слышал?

Студент:

– Да... конечно.

Полицейский:

– От кого?

Студент иронически поднимает брови, оглядывается на секретаршу, наконец говорит:

– То есть как – от кого? От Пушкина.

Офицер быстро помечает что-то на листке перед собой.

– А где он сейчас – знаешь?

– В каком смысле – где? – настороженно спрашивает молодой человек. – Его же это... убили...

– Как – убили?! – вскрикивает визави. – Кто убил?!

Он вскакивает из-за стола и начинает в страшном возбуждении кружить по комнате. Очевидно, его сильно задевает тот факт, что этот сопляк знает об убийстве Ленского, а он, офицер полиции, почему-то не знает. Он останавливается напротив студента и повторяет:

– Кто убил?

Студент, уже чувствуя, что этот странный разговор с сумасшедшим любителем пушкинского романа пошел по какому-то неправильному руслу, поеживается и тихо говорит:

– Ну, как же... ну, этот... Онегин же...

Полицейский подсакивает к столу, быстро записывает и это показание.

И только когда он пытается выяснить точную дату убийства, а юноша, явно подсчитывая что-то в уме, бормочет, что приблизительно в первой четверти девятнадцатого века... следует, как – у Гоголя – финальная сцена с застывшими фигурами и вытаращенными глазами...

Гротескным преобразованиям, искажениям, перевоплощениям смыслов подвергается и язык – важнейшая, если не главная, субстанция нашего существования в социуме.

Обратите внимание: коверканье языка, комические языковые ситуации занимают сейчас обширное место на страницах юмористических изданий повсюду в эмиграции – Германии, США, Израиле.

Мучительное надевание чужого языка, постепенное переодевание сознания – это ли не трагический карнавальная процесс, суть болезненных эмигрантских перевоплощений! А ведь с годами происходит еще и обветшание родного языка, частичная его потеря, прорехи именно в смысловых, подтекстовых оттенках.

На днях сижу в офисе своего издателя, обсуждаю условия опубликования новой книги. Радио на русском языке, которое работает у нас двенадцать часов в сутки, включено на всю катушку. Идет передача, в которой обычно знакомят слушателей с тем или иным печатным изданием, берут интервью у известных журналистов и писателей, у редакторов газет и журналов. Ведет передачу бойкий старожил. Владелец глубокого бархатистого баритона, когда-то, в далекой молодости, он озвучивал линии ленинградского метро («Осторожно, двери закрываются, следующая станция «Василеостровская»). Репатрировавшись, обнаружил, что метро здесь еще не построили, зато радиостанции «Голос Израиля» требуется диктор. С началом Великой Алии он расцвел, стал вести литературные передачи, брать интервью у приезжих и местных знаменитостей. Правда, за эти годы язык он не то чтобы подзабыл, а как-то... перестал вслушиваться в смысл того, что говорит.

Его собеседник – главный редактор одной из газет, выходящих на иврите, назовем его господин Шапиро. В молочном возрасте его привезли сюда из России, и он понимает по-русски, пытается говорить и искренне считает, что знает этот язык, на котором говорили с

ним его родители. Стоит ли уточнять, что смысл многих его слов и фраз тоже нуждается в некотором дополнительном объяснении.

И вот в открытом эфире происходит следующий диалог:

– Господин Шапиро, – бодро и напористо вступает ведущий, – многие наши радиослушатели интересуются: какого размера ваш почтенный орган?

Господин Шапиро, профессор, автор нескольких монографий, почетный член нескольких зарубежных академий, задумывается на мгновение, затем, преисполненный достоинства, медленно произносит:

– Обычного. Нормального. По пятницам несколько увеличивается... (само собой, он имеет в виду ряд пятничных приложений к своей газете).

И оба этих, весьма довольных собой, господина даже не задумываются, что они несут в открытом эфире.

В этом перевернутом, вывернутом наизнанку мире наши дети – особая статья. Понятно, что везли их сюда за: здоровым национальным самоощущением, чувством собственного достоинства, раскованностью, знанием языка предков, традиций, культуры, религии. Но – боже мой! – не за тем же, чтоб они потеряли наш болезненно любимый, родной, самый – прекрасный – на – свете русский язык! А они, наши дети, катастрофически его теряют.

Заставить мою двенадцатилетнюю дочь прочесть несколько страниц по-русски – забойный труд шахтера, вгрызающегося в скальные породы.

– Ну почитай «Трех мушкетеров»!

– Я уже читала на иврите.

– Вот видишь, а роман «Двадцать лет спустя» на иврит еще не переведен. Французского ты не знаешь, выходит, вообще эту книгу не прочтешь? А знаешь, сколько прекрасных книг на иврит еще не переведены, а на русский уже переведены? Ты согласна их не узнать никогда? А книги своей матери ты тоже будешь на иврите читать?

И т. д., и т. п.

И с бессильной горечью наблюдаешь, как медленно и неотвратимо уплывает твое дитя к берегам другого языка, и с ужасом понимаешь, что ему неинтересны книги твоего любимого Юры Коваля, что про Мэри Поппинс и про Винни-Пуха твой ребенок прочел уже на иврите, а по-русски не прочтет никогда.

Объявление на дверях книжного магазина: «Удержите детям язык!!!»

Два года подряд я предпринимала в этом направлении почти героические усилия. Например, отправила свою дочь на уроки русского языка и литературы в вечернюю русскую школу. После занятий пробовала обсуждать пройденное на уроках заискивающим тоном.

– Ну... что вы сегодня учили?

– Этого... ну... Толстов.

– Льва Николаевича Толстого! – преувеличенно артикулируя, говорю я. – Великого русского писателя. Что именно вы читали?

– Это... «Сливная костячка»...

– «Косточка»! – подхватываю я с преувеличенным вдохновением. – Это прекрасный рассказ для детей. А ты можешь пересказать мне содержание?

Она мнетя, похныкивает, переминается с ноги на ногу и посматривает в сторону телевизора, где должна начаться популярная юмористическая передача «Зэ у зэ!» (точно это восклицание перевести невозможно, приблизительно так: «О, это оно!» или точнее: «Ото то!»). Актеры – довольно крупные мужчины, переодетые женщинами (огромные накладные сиськи, лохматые парики, вульгарно покрашенные губы), бегают друг за другом, виляя

задами, падают на пол, задирая вверх волосатые ноги в дамских туфлях сорок второго размера, и шиплют друг друга за все мыслимые части тела.

Долгое время ничего, кроме недоумения и омерзения, эта политическая передача во мне не вызывала. Пока вдруг я не поняла: да это же не что иное, как площадный театр, карнавал в чистом виде!

– Если ты перескажешь мне содержание «Косточки», – говорю я, понимая всю жалкость этого педагогического приема, – я разрешу тебе включить телевизор.

Она долго думает, морщит лоб, ковыряет болячку на руке, выворачивая локоть, наконец говорит:

– В общем, там подняли хай из-за фруктов... Представляешь, считали, кто сколько съел! И папа сказал детям: «Дети мои! Или вы съели эту сливу? Или вы хотите через это хорошо получить? Не говоря уже об совсем, умереть?..»

– Можешь включить телевизор, – разрешаю я упавшим голосом.

Тут уж не до бесед типа «поговори со мною, мама!». Хоть бы на старости лет стакан воды нам подала, что ли, говорю я мужу, если к тому времени не забудет, как по-русски будет «вода»...

Любопытно, что все ино-земное, ино-родное, ино-культурное, попав сюда, в эту стихию кромешного карнавала, немедленно вовлекается в его бешеный водоворот. Глядишь – то тут, то там, в сумасшедшем пробеге мелькнет новая маска, размыкается на мгновение круг, принимая ее в хоровод и... вот уже мчится в колоннадах древней римской улицы Кардо какой-нибудь бывший инженер из Куйбышева, нацепив на себя костюм, например русского экскурсовода. Он бежит, машет палкой, на конце которой завязана яркая тряпочка, и кричит: «Группа из Винницы, не разбредаться!»

Кстати, на ниве русского экскурсоведения происходят чарующие истории, буквально напичканные обмененными смыслами.

Один мой знакомый, экскурсовод, вел недавно группу туристов из Баку по маршруту «Еврейский Иерусалим». На всем протяжении экскурсии под ногами у него путался маленький глуховатый старичок, слушал, оттопыривая ладошкой большое седое ухо.

Стоя у Стены Плача, экскурсовод говорил, что после Катастрофы европейского еврейства произошел взрыв национального самосознания, и евреи провозгласили независимость Израиля.

После экскурсии старичок подходит к моему приятелю и, явно волнуясь, спрашивает с чудовищным акцентом:

– Послушай, дорогой, не могу понять: какой тут у вас катастроф, какой взрыв?

Тот терпеливо и громче объясняет, что после гибели шести миллионов евреев, что принято называть Катастрофой, произошел взрыв на-ци-ональ-ного са-мосоз-нания, и евреи провозгласили государство.

Старичок вздохнул с огромным облегчением, заулыбался и говорит:

– Ух, слав богу! Я думал – Пампей!

К слову: костюм полураздетого туриста под знаком хамсина и к нему маска с намалеванным на ней обалделым выражением: «Ну и жарница тут у вас!» – явление, распространившееся за последние годы, с падением железного занавеса.

К моей подруге приехал в гости – поглядеть Израиль – сват Владимир Иванович, между прочим, кандидат химических наук. Приехал, разделся до трусов (у нас действительно довольно жаркий климат) и принялся расхаживать по квартире, вышлепывая ладошками на голом животе «Турецкое рондо» Моцарта. День эдак ходит, два, неделю ходит... Наконец домашние, ошалев от «Турецкого рондо», решили удалить этого ударника из дому –

хотя бы на день – проверенным способом: ему купили билет на экскурсию в «Иерусалим – город трех религий».

Живут они под Хайфой, а экскурсионный автобус отправляется от центрального автовокзала. Ну, объяснили свату, как добраться до автовокзала, нарисовали – куда и как, только забыли написать название экскурсии. А он, пока добирался, забыл – в какой город едет, помнил только, что в столицу. И пошел он искать по улицам русскоговорящих людей (что нетрудно), и наткнулся на совсем свеженькую репатриантку, и спрашивает ее:

– А скажите, гражданочка, какой у вас тут город – столица?

И эта дура отвечает – что? Правильно: Тель-Авив. Как ее учили в советской школе: «длинная рука Тель-Авива».

И пошел сват Владимир Иванович искать автобус, следующий по маршруту «Тель-Авив – город трех религий», что на слух местных жителей звучит ну до коллик смешно.

Кстати, о религиях.

Я не говорю о взаимоотношениях трех великих религий, сгрудившихся на священном пятачке Масличной горы. Я говорю о противостоянии, распрях и противоборстве внутри каждой из них. Да у нас внутри каждой конфессии сект, ответвлений, дворов и направлений – видимо-невидимо! У нас только православная церковь делится здесь на Белую и Красную, смертельно враждующие церкви. А католики, а протестанты, а армянская и грузинская епархии! А лютеране! А «Христиане за Израиль», устраивающие ежегодные абсолютно карнавальные шествия по Иерусалиму! А... христианская Пасха – с усиленными нарядами израильской полиции, стянутыми на площадь перед храмом Гроба Господня, Пасха с ежегодными кровопролитными потасовками между братьями во Христе, принадлежащими к разным направлениям христианства, – вот это всем карнавалам карнавал!

Есть в Иерусалиме ресторанчик «Кенгуру». Держат его Лина и Дато – она грузинская еврейка, он настоящий грузин, истовый христианин, долгое время был секретарем патриарха православной грузинской церкви. Бывший российский народ любит там бывать: симпатичные хозяева, вкусная кухня, да и компания своя собирается.

Однажды художник Саша Окунь привел в «Кенгуру» своего гостя из Италии, отца Серджио, иезуита. Вот, говорит, познакомьтесь, это отец Серджио. Иезуит.

Дато, который и без того похож на кота, выгнувшего спину, совершенно ошетиливается, отзывает Сашку в сторону и шипит:

– Ты что! Как ты смел привести иезуита в мой дом! Их на порог пускать нельзя, в Швейцарию, например, их не пускают, указ такой есть!

Тем не менее прирожденное грузинское гостеприимство, очевидно, не позволило ему выгнать гостей. Они уселись за стол, заказали вина, сациви, лобио...

И отец Серджио, который к тому же оказался экуменистом, сидит, вкусно ест, благодушествует и рассуждает, как прекрасно станет в мире, когда сольются в любви все веры.

Дато слушает, слушает и тихо закипает.

– Серджио, скажи, – наконец вкрадчиво спрашивает он, – когда все-все сольются, кто наверху будет?

Отец Серджио все-таки иезуит, выучка чувствуется, складывает под подбородком ладони лодочкой, возводит очи и смиренно произносит:

– Наверху будет Бог.

И Дато ничего не остается делать, как повторить этот жест. Несколько секунд они сидят друг напротив друга, как два прихожанина одного прихода.

Помолчали... Трапеза возобновляется.

– Серджио, скажи, – опять вкрадчиво вступает Дато, – когда все-все сольются, ниже Бога кто будет?

– Папа, – кротко отвечает иезуит.

– Ни-ког-да!! – кричит Дато, сверкнув глазами.

Помолчали... Из кухни приносят свежую зелень, молодую картошку с солеными огурчиками...

– Серджио, скажи, – опять вступает Дато, – когда все-все сольются, в самом-самом низу, внизу всех – кто будет?

– Я, – отвечает иезуит, улыбаясь.

– Нет, я!! – страстно восклицает грузин, стукнув кулаком по столу.

Но пока не слились в порыве любви все-все веры – с единой вершиной и единым краеугольным камнем в основании – нашим добрым Дато, – случается так, что на наших площадях бьют кровавые фонтаны.

Впрочем, это тоже в традиции средиземноморского карнавала – возьмите любую итальянскую или испанскую средневековую новеллу: под грохот музыки и раскаты смеха, в брызгах огня всегда сводились счеты с неверной возлюбленной, жестоким мужем, коварным другом, подлым предателем...

Вот только наша ближневосточная мясорубка внесла нечто новое в историю извечного арабо-израильского карнавала: когда в воздух взлетают ни в чем не повинные, никого не предавшие, никому не изменившие дети...

Возвращаюсь домой из города. Дверь открывает взвинченный сын, кричит мне:

– Где ты гуляешь, мы тут с ума сходим!!!

По телевизору передают экстренный выпуск новостей: двадцать минут назад в центре Иерусалима, на пешеходной улице Бен-Иегуда (в одном из магазинов которой я час назад купила себе отличный ежедневник в кожаном переплете), взорвали себя три террориста-самоубийцы. По предварительным данным, они были переодеты в женские платья и прогуливались среди столиков кафе, вынесенных на улицу в этот упоительный час предвечерней прохлады. Есть много раненых, больше десятка убитых, среди них – дети, женщины...

На экране телевизора под вой амбулансов мечутся санитары с носилками, бегут полицейские, мелькают искаженные ужасом, окаменевшие от шока, залитые слезами лица людей...

Я представляю себе, как три безумца надевают на себя огромного размера лифчики, чтобы больше вошло в них взрывчатки, как нацепляют парики, надевают дамские туфли, красят помадой губы, – как три безумца готовятся к последнему в своей жизни карнавалу только ради того, чтобы убить еще с десятков евреев. Я пытаюсь представить себе, как они передевались, как смотрели друг на друга – ведь это страшно весело, ведь это смешно, ведь невозможно не рассмеяться?!!

Я швыряю в угол сумку с новым отличным ежедневником, который в любую минуту может больше не пригодиться мне в этой жизни, и ору:

– Гос-по-ди, на-до-ело!! Господи, как надоел этот кошмарный карнавал! Господи, что надеть, во что переодеться, чтобы стать невидимой, недостижимой, неуязвимой! Господи, во что переодеть детей, всех близких, весь народ, чтоб перестать быть вековечной мишенью!!

На следующее утро после бессонной ночи я запрещаю домашним включать телевизор и радио. Я не хочу ничего слышать, ни одной подробности о вчерашнем теракте, ни одного

имени, не хочу видеть ни одной фотографии жертв. Я выжата, как лимон, измучена, у меня нет сил не то что работать – просто жить, двигаться, совершать какие-то бытовые действия.

Медленно шаркая тапочками по кухне, в полной тишине варю себе кофе и слышу, как, почти крадучись, чтобы не раздражать меня, муж выходит за газетой, а потом тихо шуршит страницами в комнате.

Вдруг раздается – я ослышалась, наверное? – его почти истеричный смех.

– Опечатка! – кричит он мне. – Ну и опечаточка!

И показывает в разделе «Объявления»:

«Каин с большим опытом предлагает услуги по части обрезания».

Ну конечно. Наборщица, наверняка новая репатриантка, вместо «коэн» набрала более понятное ей – «Каин», мгновенно вписавшись в стихию этого вечного, невозможного, не остановимого ни на минуту, трагически прекрасного карнавала.

«Я не любовник макарон», или Кое-что из иврита

Предотъездный ажиотаж в Москве вокруг многочисленных курсов по изучению иврита.

Не помню, кто из моих приятелей обронил после первого занятия: «Как вообще сознание русскоязычного человека может воспринять язык, на котором неприлично звучащее слово «ялда» означает «девочка»?»

И вот приезд, Иерусалим, обязательный «ульпан» – курсы иврита...

Что там «ялда», доложу я вам (которая, кстати, через каких-нибудь два-три урока бегло и просто произносится всеми как «елда»)! Что там невинная «ялда», повторяю, если наш преподаватель – не улыбчивая религиозная женщина в парике, в глухом, под подбородок, платье с длинным рукавом (в июле), каждые три минуты бодро повторяет непристойное слово «схуёт», от которого напрягается и переглядывается вся группа.

Вдруг Хана прервала свою речь, по-видимому заподозрив, что мы не все понимаем.

– Как будет по-русски «схуёт»? – спросила она на иврите, оглядывая класс.

Повисло секундное молчание, и один из учеников, пожилой доктор исторических наук, сказал в тишине мрачно:

– Да так и будет...

И все расхохотались.

Впоследствии выяснилось, что Хана, добрейшей души человек, рассказывая о непростой жизни в этой стране, просто советовала всем нам хорошенько изучить свои права (они же «схуёт»), с тем чтобы во всеоружии вступить в борьбу с пресловутым чудовищем – вездесущей израильской бюрократией.

И просто неловко вспомнить, как по приезде в Иерусалим я отказалась от прекрасной съемной квартиры (редкая удача: наплыв репатриантов, все квартиры нарасхват) только по одной причине: дом, в котором маклер предлагал нам снять эту квартиру, стоял на улице Писга. Я представила себе, как сообщаю свой адрес московским друзьям и как, посылая письма, они выводят на конверте: Pisga-strit...

Нет-нет, сказала я маклеру, эта квартира мне не подходит.

Вид из окна, знаете ли, спальни не очень, знаете ли, не фонтан... (Между прочим, «писга» означает – «вершина». Я потом жила в поселении, которое называлось «Вершины», во множественном числе – «Псагот». И ничего. Очень любила это место.)

Но в по-настоящему идиотское положение я попала месяца три спустя после приезда.

У меня заболел зуб, и приятели порекомендовали хорошего зубного врача, не забыв предупредить меня, что Фирочка (именно так!) – женщина религиозная, в высшей степени деликатная, прекрасно воспитанная и щепетильная до чопорности.

Таким образом мне намекали, чтобы у Фирочки я не давала воли своему языку и своей свободной манере выражаться. Какой там выражаться, отмахнулась я, рта не могу раскрыть, всю ночь по стенкам гуляла.

Фирочка и вправду оказалась приятнейшей особой – с круглым улыбчивым лицом, ласковым голосом и убаюкивающей речью. «Откроем ротик... – бормотала она нежно, колдуя над моим зубом. – ... Сейчас откроем зубик... положим ватку с лекарством... поставим пломбочку... полощите ротик...» и т. д.

Я расслабилась. Я, можно сказать, совсем размякла. Ангелы, кроткие ангелы реяли надо мной, и один из них – в белом халате – нежно оведал меня крылами...

Наконец я покинула кресло. То, что у зубного врача может быть совсем не больно, само по себе было ошеломляющей новостью. Все еще пребывая в сферах небесных, я достала из сумки чековую книжку, ручку и, почти без усилия придав голосу интонацию кротости, приличествующей этому религиозному дому, спросила:

– Сколько я должна вам выписать, Фирочка?

Не меня лучезарного выражения на лице, Фирочка ласково сказала:

– Можете выписать дохуя...

Моя рука над чековой книжкой окаменела. Умолкла музыка небесных сфер. Все смешалось в доме Облонских.

Повторяю – я далеко не ханжа. Я, можно сказать, человек циничный, крепкое слово ценю и употребляю, но... В нужном контексте, помилуйте, в соответствующем окружении близких по духу людей и, главное, – к месту. Так сказать, ложка к обеду.

Не поднимая глаз от бланка чековой книжки, я сказала суховато:

– Ну... Столько у меня нет. Но если вы назовете определенную сумму, то я выпишу чек.

Взглянув на Фирочку, я впервые в своей жизни увидела физическое воплощение литературного штампа «алая краска залила ее лицо». Фирочка стала даже не багровой – фиолетовой. Крупные капли пота выступили на ее высоком опрятном лбу. Я испугалась за ее давление.

– Боже мой! Боже мой! – вскрикнула она, всплеснув руками. – Что вы подумали?! Чек «дахуй» – это значит «отсроченный чек», а вы подумали... в моем доме!!!

Бедная! Движимая религиозным чувством сострадания неимущей репатриантке, она хотела облегчить мне условия выплаты. Хорошая штука – отсроченный чек. Выписываешь его сию минуту, а деньги со счета в банке сходят через месяц или два.

Словом, я оскандалилась.

Мои приятели сказали на это: сама виновата, мы тебя предупреждали, что дом приличный, а ты со своими замашками...

Что касается отсроченного чека – тут я уже навсегда держу ухо востро, и меня провести не так просто. И вообще – как услышу незнакомое словосочетание на иврите, в котором явственно слышны знакомые русские слоги или даже слова, стараюсь помалкивать или, по крайней мере, реагировать осторожно. Правда, и тут случались накладки.

Однажды в поликлинике, в очереди к врачу со мной разговорился старичок, одинокий репатриант. То-сё – как всегда, разговоры у эмигрантов, особенно пожилых, особенно одиноких, особенно неимущих, крутятся вокруг темы «где еще что можно получить».

Он говорил, я вежливо слушала вполуха.

Он рассказывал о благотворительной столовой, в которой бесплатно кормят стариков-репатриантов.

Этим же вечером нас пригласили в гости. Семья адвокатов, в Израиле лет уже тридцать, люди уважаемые. За ужином речь шла о колоссальных благотворительных суммах, перечисляемых сюда американскими еврейскими общинами. О том, как эти суммы контролируются и на что идут. Словом, как всегда – о злоупотреблениях израильских чиновников.

Тогда я встряла, как обычно со мною бывает, – некстати. Полезла защищать этих чертовых чиновников. А вот, говорю, есть благотворительная столовая.

Хозяин дома небрежно так пожал плечами, закуривая.

– А, – говорит, – да. Тамхуй.

Черт меня потянул за язык.

– Что, – спрашиваю сочувственно, – плохо кормят?

– Да нет, почему плохо? Кормят хорошо. Только это не выход из положения.

Тогда я и сообразила, что слово «тамхуй», собственно, и означает – «благотворительная столовая». (Обыгрывая непристойность для русского уха звучание некоторых слов в иврите, можно было бы привести немало примеров. Чего стоит, например, одно только слово «ибуд» («потеря»)? А производное от него – «ибадти» – («я потерял»)?

Но мне не хотелось бы приводить их здесь только ради легкой усмешки читателя. В любом языке есть слова, воспринимаемые с трудом носителями других языков. Важно то, как влияет на человека чужая языковая среда в совершенно новой реальности.

В совсем уже запредельную ситуацию я попала месяца два спустя после приезда.

С моим хорошим приятелем – историком и журналистом Мишей Хейфецем – мы ехали в автобусе в Тель-Авив на писательский семинар. Сидели через проход друг от друга и, надо полагать, громче принятого разговаривали. Впереди нас сидел почтенный господин лет шестидесяти, который время от времени оборачивался и внимательно на нас с Мишей посматривал.

В один из таких его оборотов, когда на нас вновь остановился пристальный изучающий взгляд, Миша улыбнулся и спросил доброжелательно:

– Ата (ты) – мудака?

Я онемела.

Во-первых, это неожиданное, неоправданное, чудовищное хамство по отношению к пожилому человеку так было несвойственно Мише!

Во-вторых, непонятна была Мишина доброжелательная улыбка, сопровождающая хамский текст, – она усиливала циничность оскорбления.

И в-третьих, откуда израильтянин вообще мог знать это исконно российское словечко из сленговых пластов последних лет? И почему Миша уверен, что тот его знает?!

На какую-то долю секунды я почувствовала дурноту нереальности происходящего.

И в этот момент, так же доброжелательно улыбнувшись, почтенный господин охотно откликнулся на иврите:

– С чего это вдруг я мудака? Я вовсе не мудака.

И отвернувшись, уставился в окно на дивный пейзаж, бегущий вдоль шоссе.

– Так вот, – увлеченно продолжал Миша Хейфец как ни в чем не бывало, снова обращаясь ко мне, – я, значит, иду в Центральный архив...

– Миша... – пролепетала я, впервые в жизни ощущая буквально, что значит выражение «поехала крыша», – Миша, за что ты обозвал этого человека?

– Кого? – изменившись в лице, спросил Миша. – Как – обозвал?

– За что ты обозвал его «мудаком»?

Хейфец напрягся и... расхохотался.

– «Мудьяг!» – повторял он хохоча. – «Мудьяг» – «обеспокоен!» Я спросил его – не обеспокоен ли он чем-то. Он ответил: «С чего это вдруг мне беспокоиться?»

Однако живешь-живешь и привыкаешь... Более того – постепенно теряешь чувствительность «русского уха» к звучанию слова, начинаешь прилагать немислимые усилия, чтобы не засорять речь привычными названиями на иврите. И это, поверьте, действительно требует значительных усилий, потому что иврит – как язык – более «удобен» в употреблении, сжат, краток, ёмок.

Отрывок из Пятикнижия на иврите занимает на странице, скажем, три-пять строк; перевод на русский того же отрывка занимает почти всю соседнюю страницу.

Гораздо проще, рассказывая о знакомом, которого на службе перевели в статус постоянного работника со всеми вытекающими из этого статуса льготами, сказать «он получил «квинот», чем вот так, как я – двумя строками выше, – объяснять это по-русски.

Гораздо быстрее сказать «мисрад-клита», чем «министерство абсорбции новых репатриантов». Посопротивляешься с полгода, а потом и рукой махнешь. Жизнь плотная, не до разговоров, ну его – так проще. Вот и слышишь то и дело в автобусе разговор двух вполне российского происхождения особ:

– Я говорю «менаэлю» (начальнику): «Пока я не подпишу «хозе» (договор) со всеми «тнаим» (условиями) – я работать не стану. Я без «пицуим» (денежной компенсации при увольнении), без оплаченных «несиёт» (поездок на работу), без «битуах леуми» (национального страхования) и без «купот-гимел» (пенсионных касс) не буду работать!»

До отъезда мне несколько раз попадались книги ивритских писателей, переведенные на русский язык. Одна была из жизни мошава – сельскохозяйственного поселения. Жители мошава назывались «мошавники». Я читала и содрогалась. Как же не чувствует переводчик, думала я, что это слово ассоциируется в русскоязычном сознании сразу с тремя словами: «мошенник», «шавка» и «мошонка»!

Прошло несколько лет, и я совершенно спокойно слушаю в последних известиях и про мошавников, и про кибуцников. Да что там! – абсолютно не моргнув глазом перевариваю какое-нибудь «мемшала мехуевет» (правительство обязано).

Я даже привыкла наконец к тому, что имя моей дочери Евы звучит в настоящем, первоначальном варианте как «Хава» (правда, с ударением на последнем слоге). Мне уже не слышится в звучании этого имени словечко провинциальных лабухов – «хавать». Я уже не морщусь, когда звонит ее одноклассница и спрашивает Хаву. Я просто вежливо отвечаю, что Хавы нет дома. Больше не ассоциирую. Сознание отсекает. Сознание раздваивается и живет отдельной – русской – жизнью дома, в кругу близких друзей.

Мимо меня течет густая плотная река жизни на иврите. По необходимости я вступаю в эту реку и осторожно плыву мелкими неуверенными гребками, никогда не заплывая на глубину – боюсь утонуть.

Вот и сейчас, сижу за компьютером, а в соседней комнате ссорятся на древнееврейском дочь и сын. Они долго и подробно выясняют отношения, прибегая к сложным словесным выкрутасам (большинство из них я не понимаю и не вдаюсь); это совершенно не похоже на русскую ругань – иные принципы словообразования.

И я уже не расстраиваюсь, я смирилась: у них свой язык, у меня – свой.

Вот только пытаюсь еще – довольно жалко – «качать права» в собственном доме.

«Со мной – только по-русски!» – кричу я в ответ на ту или иную обращенную ко мне фразу на иврите. И они пытаются, бедные. «Хочешь макарон?» – спрашиваю я дочь, и она отвечает смиренно: «Нет, спасибо. Я – не любовник макарон». Или когда мне звонят и, попадая на дочь (голоса похожи), спрашивают: «Это Дина?», она отвечает терпеливо: «Нет, это ребенок от Дины. Она не находится».

Как говорит мой муж ядовито: «За этим, кажется, и ехала, голубушка?»

Кстати, есть слова в иврите до смешного похожие и по смыслу, и по звучанию на русские. Например, слово «нудник», означающее просто – «зануда». Израильтянин, мой сосед, прогуливая своего кобелька, не обделяющего вниманием ни одной суки, говорит горделиво:

– У (он) романтик ве (и) нудник!

Что касается настоящего русского мата в полнокровной повседневной жизни израильтян, то он тоже имеет место. Да и как же иначе – страну эту строили главным образом выходцы из России, люди, поди, не чуждые традиции ядреного русского слова. А условия жизни в Палестине начала века, губительный ее климат и непростые, мягко говоря, взаимо-

отношения евреев с арабским населением очень и очень располагали к широкому употреблению глубинного матерного пласта русского фольклора.

Правда, с течением времени смысл того или иного выражения сместился, как-то смазлся, пожух.

Например, очень распространенное здесь выражение «лех кебенимат» означает всего-навсего что-то вроде – «иди к черту».

В Тель-Авиве даже есть ресторанчик – «Кебенимат».

Не была там ни разу. Не знаю – что подают.

Иерусалимский автобус

Мой знакомый репатриировался в Израиль слякотной ноябрьской ночью.

О предотъездном кошмаре, ночных переключках в очередях в ОВИР, безотрадных лицах соотечественников в вагоне московского метро, издевательствах таможенников в Шереметьеве... писано-переписано, нет нужды повторяться.

Самолет приземлился в аэропорту Бен-Гурион ночью, и после всех мучительных процедур мой знакомый добрался на рассвете к друзьям в Иерусалим.

А утром ему предстояло освоить первый, и главный для репатрианта, маршрут – поехать на автобусе в министерство абсорбции.

– Ну, объяснили мне друзья, как добираться, – рассказывал он, – написали на бумажке номер автобуса, нарисовали, как для идиота, схему: вот тут улица, вот тут остановка... Теперь я понимаю, что и правда выглядел пристукнутым.

Добрёл по солнышку до остановки, влез в автобус – все как во сне.

Ну, еду...

А у водителя радио включено, и передают какую-то приятную ритмичную песенку. По-видимому, это был в том году модный шлягер.

И водитель прибавил звук. И вдруг весь автобус запел. Все пассажиры, без исключения. Ну, вот как мы в детстве, когда нас в пионерлагерь вывозили. И водитель крутит баранку и поет во весь голос. И вокруг меня – какие-то тетки с кошелками, пенсионер в дырчатой шляпе, какие-то подростки... все поют. А я, значит, вчера из Шереметьева... Я думал, у меня крыша поехала, думал, может, это съемки какого-то мюзикла. Вставной музыкальный эпизод. Знаешь, это был настоящий шок. Боялся, что разрыдаюсь. И вот что тебе скажу – с тех пор прошел уже не один год, хлебнул я здесь всякого, но этот поющий автобус в мой первый день – он меня долго на плаву держал, да и сейчас держит...

Все городские и междугородные автобусы в Израиле принадлежат двум компаниям – «Эгед» и «Дан». В Иерусалиме колесят только красно-белые автобусы «Эгеда». Эта всесильная империя уступает лишь власти царицы-Субботы, но на исходе ее, с появлением на небе звезд, автобусы «Эгеда» вновь выходят на линии.

Водитель автобуса – не безликий некто, отделенный от пассажиров стеклом кабины и табличкой: «Просьба не отвлекать водителя разговорами». Он – хозяин, причем полномочный, он и кондуктор, потому что пассажиры входят в автобус только через переднюю дверь. Короче – контакт каждого пассажира (пусть краткий) с водителем автобуса неизбежен.

А если ты каждое утро садишься на своей остановке в один и тот же автобус (они ходят по расписанию), то постепенно с суховатого «доброе утра» переходишь на «как дела?» и «что-то вчера тебя не было», а по прошествии времени и «ну, как дочка – еще занимается балетом?»...

Хотя, конечно, это зависит от степени разговорчивости и доброжелательности водителя.

Например, когда я жила в небольшом поселении Псагот, удаленном от Иерусалима не столько расстоянием, сколько противостоянием (поселение это находилось чуть ли не в центре арабского города Рамалла), на работу в Тель-Авив мне случалось добираться на автобусе, который шел только раз в день – в шесть утра, колесил до Тель-Авива почти два часа по верхней горной дороге, забирая людей из многих поселений. Дорога эта была достаточно опасной, по большей части безлюдной, но проезжали и большие арабские села, где автобус не останавливался. Ездили в нем и арабские рабочие, добирающиеся на заработки в центр страны.

Я входила в автобус в самом начале маршрута, почти всегда была первым пассажиром и садилась на переднее сиденье возле двери. Водитель, молодой сумрачный парень, на мое «доброе утро» только молча кивал и на всем протяжении пути не говорил ни слова.

Но каждый раз происходило одно и то же, со временем ставшее чуть ли не ритуалом: перед особо опасным участком пути, когда автобус должен был быстро проехать узкими улочками арабского села, водитель, держа левую руку на руле, правой доставал из кармана пакетик с мятными конфетами, одну брал себе, а вторую молча, не оборачиваясь, протягивал мне. И так, катая под языком успокаивающе-мятный шарик, мы с ревом пронеслись между заборами враждебного арабского села...

Что касается профессиональных качеств – в этом водители иерусалимского отделения «Эгеда» мастера высочайшего класса. Иногда маневрирование двух автобусов, впритирку разъезжающихся на какой-нибудь узкой улочке старого района Меа-Шеарим, кажется цирковым номером. Любопытно бывает наблюдать, как, застряв на светофоре, водитель ставит автобус на тормоз на крутейшей горке чуть ли не на задние лапы и, развернув на руле газету, просматривает свежие новости.

Если говорить о правах и обязанностях, то водитель «Эгеда» не только хозяин, но и ответчик. Причем ответчик за все: за то, что плохо работает кондиционер, за то, что кончились проездные билеты, за то, что изменилось расписание движения автобусов, за то, что вообще сегодня жарко. Каждый, кому не лень, может предъявить свои претензии. Правда, этому каждому немедленно ответят – что думают о нем и о его претензиях.

Я никогда не видела, чтобы израильтяне в автобусе заранее готовились к выходу на нужной остановке. Здесь не может быть никаких: «Вы на следующей выходите? а перед вами выходят? а та девушка впереди тоже выходит?» – здесь пассажир встает со своего места тогда, когда автобус остановился на нужной этому пассажиру остановке.

Вот как ездит в иерусалимском городском транспорте среднестатистическая израильская тетка лет пятидесяти.

Она садится на рынке Маханэ Иегуда с пятнадцатью кошелками, очень постепенно, не торопясь – сегодня жарко. Публика сзади не напирает, а терпеливо ждет, пока она втащит все свои бебехи. Водитель тоже ждет. Правда, он может подавать реплики вроде: «сколько я могу стоять?», или «ты весь рынок скупила?», или «помогите ей кто-нибудь, а то меня удар хватит». Но ответ последует немедленно, и не самый приятный, так что в большинстве случаев водитель кипит, но помалкивает.

Вот она наконец влезла, втащила в салон все свои кошелки и плюхнулась с размаху на сиденье. Теперь она немедленно должна натягивать штору на окно – сегодня жарко. Она пыхтит, старается, кричит: «Водитель, ты бы лучше занялся своим делом, у тебя шторы на окнах не опускаются!» Он, глядя в зеркальце, отвечает: «Кто-нибудь, опустите ей эту штору, пока я не перевернул автобус!» Все пассажиры бросаются натягивать штору, и всеобщими усилиями она наконец натянута. Вообще впечатление такое, что тетка собирается ехать если не до Хайфы, то по крайней мере – до конечной.

Но через две остановки она встает и, загораживая своим обширным задом проход между сиденьями, принимается не торопясь связывать кошелки.

Водитель, глядя на ее манипуляции в зеркальце, подергивает автобус, как извозчик – клячу. И тогда тетка грозно покрикивает: «Рэга!!» (слово, означающее вообще-то «мгновение», но имеющее, по крайней мере, еще десяток смыслов в зависимости от ситуации, например: «погоди», «дай сказать!», «дай сделать!», «не перебивай», «минуточку!»). Существует израильский анекдот, один из многочисленных об израильской армии: евреи запускают ракету: «пять... четыре... три... два... один... рэга... рэга... рэга... старт!!!»)

Итак, тетка вываливается на тротуар, но кошелки ее еще в автобусе. И она неторопливо принимает их из рук какого-нибудь парня, которому и тетка надоела, и ехать надо.

Но в эти же минуты в переднюю дверь втаскивается точно такая же тетка с десятью кошелками, плюхается на сиденье и первым делом принимается поднимать только что опущенную штору – ей темно, а у этих водителей в этих автобусах вечно все не работает. Водитель, глядя в зеркальце, кричит: «Да поднимите же кто-нибудь ей эту проклятую штору, пока я с ума не сошел!» Весь автобус хлопотливо бросается поднимать штору...

Дети в Израиле – это отдельная тема, дети в израильском автобусе – это тема в теме.

Приехав, я почти сразу поняла, что оживленный разговор между двумя людьми вовсе не означает того, что эти люди – друзья или даже знакомые. Просто израильтяне легки на завязывание любого разговора на любую тему с кем угодно. Реакция при этом на любой, самый неожиданный поворот в теме беседы бывает потрясающей.

И хотя я, повторяю, сразу это поняла, несколько раз я попадалась на удочку абсолютно домашних интонаций – не важно, в дружеской беседе или в сваре.

Еду как-то в автобусе номер тридцать шесть. Очередная остановка. На тротуаре стоит девочка лет девяти, за плечами – школьный ранец. Она не торопится сесть в автобус.

– Ну?! – спрашивает водитель. – Долго я буду ждать?

– А после тебя во сколько будет следующий? – лениво вопрошает дитя.

– Давай садись, какой тебе еще следующий? – восклицает водитель.

– Неохота... – отвечает дитя.

– Садись в автобус, я сказал! – грозно вскрикивает водитель.

– Что ты пристал к ребенку! – доносится откуда-то с задних сидений. – Не хочет, пусть не едет.

– Что значит «пусть не едет»? Нечего ей шляться! – взрывается водитель. – Немедленно домой, уроки делать.

Тогда дитя с тротуара отвечает что-то вроде – сам делай свои уроки, если ты их когда-то недоделал...

– Пусть ребенок гуляет, езжай по маршруту! – орут пассажиры, и автобус наконец трогается с места.

И мне требуется еще минут десять, чтобы осознать, что этот водитель не приходится этой девочке ни папой, ни дядей, ни даже соседом...

Мне бы не хотелось рисовать здесь лубочные картинки на тему какой-то сверхдушевности израильтян. Ее нет, этой сверхдушевности. Израильтяне, по моим наблюдениям, люди скорее брутального склада. Я говорю лишь о градусе национального темперамента, об артистичности и умении мгновенно включиться в ситуацию. Это касается как случаев, условно говоря, положительного общения, так и случаев общения отрицательного. Справедливости ради добавлю только, что в тех случаях отрицательного общения, которые мне доводилось здесь наблюдать, обе стороны никогда не доходили до критической черты остервенения, за которой следует уже рукоприкладство. Ссоры израильтян слишком часто выглядят сценами из итальянской комедии.

Ждем автобуса – я, какой-то мальчик и религиозная тетка в парике с пятью детьми. Автобус опаздывает (что случается крайне редко), дети куксятся, теребят мать, она нервничает и громко ругает правительство, компанию «Эгед», водителя опаздывающего автобуса.

Наконец на повороте показывается бело-красная машина. Тетка, не умолкая ни на минуту, поднимает детей в автобус, они как горох раскатываются по салону, занимая понравившиеся места, сама с младенцем на руках садится на переднее сиденье, продолжая громко ругаться.

– Ну что ты кричишь? – довольно доброжелательно спрашивает водитель. – При чем тут я. Я приехал по расписанию, это тот, кто до меня, не вышел на линию...

Тетка продолжает однообразные громкие обвинения. Парик ее съехал набок, грудной ребенок на руках пищит, и видно, что она просто вошла в штопор и не может из него выйти.

Водитель еще несколько минут пытается что-то объяснить ей, но она невменяема. И он говорит:

– Все, геверет, закрыли заседание Кнессета.

Вслед за его словами раздается взрыв оскорблений. Однако парень все еще пытается остаться в рамках пусть неприятного, но все же конвенционального выяснения отношений.

– Слушай, – говорит он раздраженно, – иди стирать. У тебя дома замочено белье.

В ответ на это тетка берет октавой выше и увеличивает темп, так что я уже и понять не могу – что именно она ему желает.

– Иди стирать!! – кричит он. – Займись своим делом, недоразвитая!

Тогда в дуэт вступают остальные пассажиры, которым: а) осточертел этот вопль и б) хочется добраться домой без аварии.

Причем пассажиры ухитрились одновременно орать и на геверет, и на водителя, так что для меня, по крайней мере, осталось неясным – на чьей они стороне.

Так и доехали, скандала. Но когда тетка наконец вышла, детей ей кто-то из пассажиров сгрузил один к одному, а сложенную коляску, продолжая бешено ругаться, помог спустить на тротуар сам водитель.

После Великой Алии девяностых среди водителей «Эгеда» стали попадаться бывшие советские граждане. Их отличаешь не только по выражению лица, но и по более скованной манере держаться. Впрочем, были у меня и забавные «осечки»...

Иерусалимская зима 92-го года мало чем отличалась от настоящей российской. Подавляющее большинство израильтян впервые в своей жизни видели столько снега на улицах Иерусалима.

Что же касается муниципального транспорта, то, вероятно, не было у компании «Эгед» более страшной зимы за все годы существования. Были дни, когда автобусы не ходили из-за снежных заносов, из-за гололеда. Бывшие москвичи и ленинградцы только плечами пожимали, а норильцы с пермяками издевательски ухмылялись. Израильтянами коренными владела тотальная паника.

В один из таких дней я ехала в автобусе по Иерусалиму. Водитель, типичный израильтянин – коренастый рыжий поселенец в вязаной кипе, – медленно вел автобус по обледенелой дороге. За его спиной стоял какой-то щуплый маленький ультраортодокс в полной амуниции – черная шляпа, черный лапсердак, черные приютские ботинки – и, подрагивая пейсами, непрерывно бормотал над ухом водителя:

– Осторожней, осторожней! Помедленней, потише!

Водитель время от времени угрюмо просил его сесть и не действовать на нервы. Но маленький человечек, ошалев от невиданной зимы, судорожно цепляясь озябшими руками за поручень, продолжал умоляющим тоном требовать вести машину помедленней.

В какую-то минуту автобус «поехал» на льду, но водитель сразу выровнял его. Бедняга ортодокс побледнел и тихо заверещал, как кузнечик. В его полуобморочном лепете слышалось только: «тихо-медленно-тихо-медленно!»

Тогда водитель притормозил и, обернувшись к дрожащему ортодоксу, в сердцах воскликнул по-русски:

– Отзынь, нечистая сила! Я в Сибири по тайге десять лет пятнадцатитонки водил!!

Все пассажиры на мгновение замерли, и половина автобуса – «новые израильтяне» – буквально повалились от гомерического хохота.

А бедный ортодокс, беспомощно оглядывая пассажиров, все шептал что-то непривычными к морозу губами...

Дети

Израильские дети кошмарны.

То есть они, конечно, милые, красивые и раскованные ребята, но не приведи бог оказаться вам в автобусе на заднем сиденье в окружении пяти-шести таких симпатяг. Полагаю, самым сильным вашим чувством на протяжении всей поездки будет чувство благодарности судьбе за то, что вы состоите членом больничной кассы.

Да нет, ничего особенно злого и преднамеренного, ничего кровожадного у них и в мыслях нет! То, что вас крепко потопчут, так это просто они вскакивают, непоседы, и прыгают, словно кенгуру в прерии, по сиденьям. Могут плюхнуться к вам на колени и, задрав вверх ноги в кроссовках сорок второго размера, очень непосредственно рассмеяться. Просто они веселые и раскованные.

То, что вы оглохнете на ближайшие семь лет жизни, – это тоже пусть вас не смущает. Потому что никто специально, из преступных побуждений, вас не травмировал. Да, наши дети любят петь исступленным транспортным хором, весело визжать на запредельных звуковых колебаниях и орать, как пятьдесят иерихонских труб, собранных вместе. Да что там говорить: просто они веселые и раскованные.

Представьте себе: вы приезжаете из, мягко говоря, непростой страны – России, где не последней проблемой является проблема молодого поколения: преступность малолетних, жестокость подростков, потеря нравственных ориентиров... ну, и прочие прелести. Это так, конечно. Но все-таки... Если не касаться крайних случаев, следует признать, что в России все же существует... как бы это выразиться поточнее... Субординация поколений, некое возрастное расстояние, разделение круга тем, разграничение отношений. Да что там говорить – не нами сказано впервые: отцы и дети! Скажем проще – место в трамвае балбес старухе все-таки уступит. А не захочет – ему укажут да еще пристыдят.

Здесь, в Израиле, такой возрастной субординации не существует в принципе. Десятилетний мальчик будет разговаривать с вами как со своим сверстником. И не только потому, что в иврите нет обращения к человеку на «вы». Ваш почтенный возраст ни в коем случае не помешает мальчику делать и говорить то, что он считает нужным. И вообще – ваш возраст отнюдь не основание для ущемления его права получить от жизни все удовольствия.

Это не хамство. Это – следствие brutality всего общества.

Одно важное добавление: все вышесказанное не исключает приветливости, и даже дружелюбности, и даже фамильярности – как дополнительного оттенка всеобщей простоты.

Спустя несколько недель после приезда я в замешательстве стояла посреди улицы Яффо – разыскивала какую-то организацию, – задрав голову, читала по складам названия на табличках.

– Есть проблемы? – пропищал кто-то подо мной. Я опустила взор.

Клоп лет девяти, худенький, носатый, такой иерусалимский Буратино, покровительственно и спокойно смотрел на меня снизу вверх, явно собираясь руководить моими действиями, если я попала в затруднительное положение.

– Что ты, никаких проблем! – удивилась я, и он кивнул и побежал по своим делам.

А я смотрела ему вслед и думала: с каким вопросом мог бы ко мне на московской улице обратиться его сверстник? «Тетенька, который час?», или спросить – как найти такую-то улицу, или – что крайне редко случалось – выклянчивать у прохожих медь («Тетенька, я деньги потерял, до дома доехать не могу...») – но это особо предприимчивые и артистичные, я таким всегда давала деньги – за талант.

Но с покровительственным спокойствием интересоваться – не нужна ли взрослому человеку помощь? С какой стати? Ему бы в голову не пришло переступить эту субординационную черту.

И другая картинка.

Еду в пустом автобусе. Кроме меня, в салоне только мальчик лет десяти – коротко стриженный, со скупающей рожцей. Он полулежит, вытянув ноги на противоположное сиденье. Я впервые еду к друзьям на их новую квартиру и боюсь проехать нужную остановку. Поколебавшись, решаю спросить у мальчика.

Две-три секунды он изучает меня, не снимая ног с сиденья, не меняя ни позы, ни выражения лица. Думает? Не знает? Знает, но не желает ответить?

Наконец, качнув кистью руки, расслабленно свисающей с приподнятой колени, он говорит мне лениво, но вполне доброжелательно:

– Спроси у водителя, беседэр?

И я – делать нечего, – хватаясь за поручни, бреду к водителю, выяснять – на какой остановке мне надо выходить. После чего долго размышляю о юном паршивце, пытаюсь проникнуть в ход его ленивых мыслей, угадать мотивацию поступка и предположить причины, по которым он... и т. д.

А между тем, скорее всего, невинное дитя просто не знало – на какой остановке следует выходить этой тетке странного, как и все «русские», вида.

Его российский сверстник повел бы себя иначе. Он бы сказал «не знаю»; тот, кто повоспитанней, сказал бы «извините, я не знаю»; интеллигентный мальчик из хорошей семьи попытался бы помочь, спрашивая у других пассажиров.

Скорее всего, мне бы все равно пришлось обратиться к водителю. Что и посоветовал сделать юный израильтянин – без лишних слов и ненужной суеты: с какой стати суетиться? А в сочетании с обращением на «ты» все это и дает тот непередаваемый эффект особого левантийского хамства – впечатление, складывающееся не из грубых слов, а из этой лени, нежелания суетиться, будь перед ним хоть Мессия, на белом осле въезжающий в Иерусалим...

Так вот, израильские дети...

Бедные бывшие советские учителя, вызубрившие здесь иврит и сдавшие сложный экзамен на право преподавать... Не все они, добившиеся таким трудом этого права, остаются работать в средней израильской школе. Не в силах вынести душа советского педагога этого свободного разгуливания по классу посреди урока, этого полуприятельского-полунасмешливого обращения ученика к учителю, этого гипертрофированного и тщательно оберегаемого всем обществом чувства личной свободы и человеческого достоинства каждого сопляка.

А по уху – за наглость – не желаете ли, господин сопляк – по системе Макаренко?

Нет, не желает, с Макаренко незнаком, а буде случится (не дай бог!) что-то вроде этого, то плакала ваша педагогическая поэма вместе с изрядной суммой в шекелях, которую вы, по решению суда, уплатите в качестве штрафа родителям бедного двухметрового крошки.

Это твердо знает каждый.

Разговор с моим десятилетним племянником Борей:

– Сегодня такой трудный урок был по математике... Хорошо, что я успел с доски все списать. Мне все время Рахель мешала. Заслоняла.

– Надо было попросить ее...

– Я и попросил. Крикнул: «Рахель, да отойди наконец, мешаешь!!» И все переписал.

– Рахель – это девочка из твоего класса?

Боря (удивлен моей тупостью):

– Да нет, это учительница математики!

Известный израильский писатель говорит с грустной усмешкой:

– Мой отец звал моего деда «Аба-мори» (отец, учитель мой)... Я звал своего отца просто – «аба»... Мой сын зовет меня – Габриэль... А его сын, вероятно, будет подзывать его вот так, – и писатель прищелкнул пальцами – жест, каким подзывают на Востоке слугу.

Израильтяне очень любят своих детей. До неприличия. Во вред всяческому благоразумию. Причем, по моим наблюдениям, отцы более нежны к детям, чем матери, и больше времени посвящают чадам. И более щедры на проявления чувств – не стесняются прилюдно сюсюкать, обнимать, тискать своего ребенка. Придешь в любую контору – будь то бюро по продаже компьютеров или министерство образования, – на стене за спиной чиновника (цы), как в российской деревне, приколплены многочисленные фотографии возлюбленных отпрысков в разных ракурсах, возрастах и на разных средствах передвижения – от трехколесного велосипеда до родительской «хонды».

Самое распространенное обращение к ребенку – «мами», что можно перевести как «мамуля», «мамуся». Повторяю – не ребенок обращается так к матери, а мать (или отец) к ребенку. А поскольку даже в секулярной среднестатистической израильской семье детей, как правило, трое-четверо, обращение это с годами так въедается в речь, что порой заменяет собой «господина» и «госпожу». Например, на днях в банке чиновник, разъясняющий мне разницу между двумя сберегательными программами, говорил раздраженно:

– Я тебе в третий раз объясняю, мами, на этом ты много не выиграешь.

Чиновник был моим ровесником.

Однажды на рынке я слышала, как пожилая женщина сказала торговцу, заломившему за бананы слишком дорогую цену:

– За такие деньги, мами, продай эти бананы своей бабушке, да будет благословенна память ее.

Но я отвлеклась.

Итак, израильские дети.

Их балуют с самого рождения. Лет до пяти они сосут пустышку. Нередко можно наблюдать, например, в автобусе, как вполне разумный трехлетний хлопчик, вынув изо рта соску, звонко объясняет маме или сестре разницу между «субару» и «мицубиши», а закончив тираду, удовлетворенно водворяет соску на место.

Что касается такого святого дела, как высаживание младенца на горшок, то об этом и вовсе здесь не беспокоятся, благо есть такая замечательная вещь, как одноразовые подгузники. Ребенка не будят ночью, чтобы он не надул в постель. Он и дует. Дует и в дальнейшем. Вообще, мне самой интересно знать – на каком этапе «мами» приучается к общепринятому пользованию унитазом.

И вот этот облизанный, заласканный «мами», едва вынув соску изо рта, идет в школу, где его не слишком нагружают уроками, развлекают и оберегают.

Хвалят! Это очень важно. Вам объяснит это любой школьный психолог.

На днях мне пришлось-таки побывать на родительском собрании в школе, где учится моя восьмилетняя дочь. Собственно, собранием это назвать нельзя, поскольку педагог встречается с каждым родителем с глазу на глаз и беседует, проникновенно объясняя папам-мамам, какое драгоценное чадо им повезло родить.

Я увиливала от таких «бесед» весьма успешно на протяжении полугода, поскольку объелась ими, пока моя дочь (незаурядная, на мой взгляд, бездельница и растяпа) училась в первом классе. Но тут получаю особое приглашение явиться вместе с дочерью! Записка сопровождается рядом восклицательных знаков.

Я не то чтобы струхнула, но, признаться, озаботилась. В указанный день в названное время, разбросав важные дела и отменив две важнейшие для меня встречи, я предстала перед учительницей. Она была строга со мной необычайно. Я добиваюсь встречи с тобой целый год, сказала она, как ты можешь жить, не зная, что происходит с твоей дочерью?

Тут, конечно, я обмерла. Как это не знаю, что происходит, испуганно пролепетала я, слава богу, вижу ее каждый день, проверяю тетрадки. А что происходит?

А то происходит, сурово ответила она, что ребенок обделен теплым словом, сказанным в присутствии родителей. Целых полгода она не слышит о себе ничего хорошего. Нет, конечно, я все время хвалю ее в классе, чтобы она не испытывала дискомфорта, но этого явно недостаточно!

После этих слов учительница выглянула в коридор, где подпирала стенку моя страшно довольная девица, и, зазвав ее в класс, заговорила торжественно и проникновенно.

Хава – прекрасная девочка, сказала она, лучшая ученица в классе. Не потому, что лучше всех учится, а потому, что может учиться лучше всех. Более способной девочки я не встречала за все пятнадцать лет работы в школе...

И т. д., и т. п. Признаться, я сначала сама обалдела и развесила уши. То, что моя дочь – девка способная, я и сама знаю, других, что называется, не держим. Но от сыплющихся и сыплющихся на меня превосходных степеней по поводу ее талантов я, честно говоря, оробела и минут десять зачарованно выслушивала всю эту чепуху.

Не страшно, продолжала учительница, что наша чудная девочка не всегда готовит дома уроки. Ничего, что она отвлекается на занятиях и почти все время сидит с отсутствующим видом. Не беда, что она забывает дома карандаши, ручку, тетради и однажды даже пришла без портфеля. Все это преодолимо, потому что более прекрасной по своим задаткам ученицы просто нет в школе.

Словом, я поняла – что мне делать. И на обратном пути из школы «прекрасная ученица» прямым текстом получила по первое число: и за то, что уроки не готовит, и за то, что все забывает, и за отсутствующий вид, и за отменные способности. Пропал «воспитательный момент» израильской училки. Все-таки я хоть и еврейская мама, но российской закваски.

О том, какое ненавязчивое образование получают школьники в начальной израильской школе, ходят анекдоты. Хотя что там анекдоты! Жизнь, как известно, ярче и смешнее любого вымысла. Мой знакомый, преподаватель игры на ударных инструментах, рассказывает:

– Есть у меня ученик лет тринадцати, паренек способный. Недавно объясняю ему на уроке, когда надо вступить правой рукой на барабане. Он все путает и путает. Я говорю: «... Правой, понимаешь, это надо играть пра-вой! Ты что, не знаешь, где правая рука?» А он вытянул так перед собой обе ладони, смотрел-смотрел и говорит вдруг с таким искренним изумлением: «Так они ж одинаковые! Как их отличишь!»

Надо сказать, в израильском обществе – в средствах массовой информации – постоянно муссируется вопрос о необходимости реформы образовательной системы. Время от времени в газетах публикуются разносные статьи и обличительные интервью. Общество клопочет: вся образовательная система прогнила, разваливается, никуда не годится. Тем не менее, поступая в университеты и технионы, абитуриенты – вчерашние выпускники израильских школ – успешно проходят сложнейшие тесты, и диплом, например, Иерусалимского университета за границей котируется высоко.

Каким образом эти разболтанные, не приученные к систематическому труду «мами» становятся серьезными людьми, отлично ориентирующимися в море специальной литера-

туры и знающими, как взять из университетского курса самое важное и нужное для себя, – сие для меня пока загадка.

Как загадка и разительное превращение наглого восемнадцатилетнего обалдуя в солдата Армии Оборона Израиля, человека, на которого с первых дней государство взваливает величайшую ответственность за личное оружие, постоянно при нем находящееся, – будь то на полигоне, в городском транспорте или ночном баре.

А если этот дикий «мами» на кого-нибудь крепко рассердится? – интересовалась я в первое время. А если он выпьет? А если он сумасшедший? А если он приревнует к кому-нибудь свою девочку, а личный «бах-бах» свисает с его плеча так кстати?

Я видела однажды драку двух солдат. Возможно, из-за девочки. Они почти одновременно вскочили из-за столика кафе на пешеходной улице Бен-Иегуда и, почти синхронно скинув с плеч винтовки, отбросили их на руки друзей, сидящих рядом. И лишь затем, рванув на груди гимнастерки, бросились молотить друг друга самым отчаянным образом.

После этой сценки я уже не задавала вопросов по поводу ношения оружия обалдуями. Не то чтоб успокоилась, а как-то подчинилась воле судьбы.

Кроме того, люблю наших солдат – это мой маленький личный сантимент. Люблю смотреть, как, обморочно откинув голову и зажав коленями винтовку, они спят в автобусе. Люблю смотреть, как, жуя на ходу питу и забрасывая тяжелый баул в багажное отделение, они влетают в переднюю дверь, лупя прикладом по собственной заднице... Недавно, выгуливая пса, я увидела в нашем дворе солдата. До армии ругалась с этим «мотэком» по поводу полуночных песен под моим окном. Он показался на повороте дорожки. Закинув за спину баул, пошатывался от мертвецкой усталости. Вмиг из стайки играющих во дворе детей с ликующим воплем выпрыгнула его девятилетняя сестра, подбежала, обняла, обхватила его за пояс и повела к подъезду, как ведут сильно пьяных или легкораненых. Я смотрела им вслед. Они медленно шли к своему подъезду. Он обнимал сестренку за плечи и шел прихрамывая...

День был не субботний, значит, его отпустили домой за какие-нибудь особые заслуги. Я представила, как долго он добирался от ливанской границы, как ловил под палящим солнцем попутные машины и с каким наслаждением сейчас расшнурует и снимет дома свои рыжие ботинки – знак особых боевых частей...

...А недавно и моего собственного обалдуя забрили в солдаты.

Ожидая его домой на субботу, я дежурю у окна и вижу, как из подъехавшего автобуса вываливается долговязый, с бритой головой солдат и, волоча тяжелый вещмешок, с винтовкой за плечом, устало бредет к нашему подъезду.

– Господи, – восклицает за моей спиной муж, – как ему доверили оружие! Как?! Как?!

Я кайфую

Не так давно в одном московском журнале опубликовали рецензию на мою новую книжку. Вполне доброжелательную. Только почему-то в каждом абзаце автор рецензии счел необходимым подчеркнуть, как я страдаю в эмиграции. Во всяком случае, слово «ностальгия» мелькало в тексте одиннадцать раз. А в завершение рецензии речь уже шла о «трагической ностальгии». Я даже расстроилась. Неужели, думаю, я так занудно пишу?

Позвонила автору рецензии, поблагодарила за теплые слова и осторожно спросила – с чего он взял, что жизнь моя столь печальна?

Он запнулся от неожиданности и неуверенно возразил:

– Но ваша лирическая героиня явно страдает!

– Она-то, возможно, страдает, – цинично и честно заметила я. – Но я – кайфую...

В самом деле: нормальному литератору из России в любой другой стране впору повеситься – ведь как ни крути, а жизнь вокруг тебя происходит совсем на другом языке. Ты, конечно, можешь позвонить приятелю или даже собрать у себя компанию друзей и весь вечер с наслаждением вслушиваться в свободно льющуюся русскую речь... Но все-таки это будет язык людей одного, довольно узкого круга. А где уличная толпа, ее водоворот случайно выхваченных словечек, фраз, матерка, перепалки продавщицы с покупателем? Где, в конце концов, задушевные беседы с собственными детьми?! Все, тью-тью, нет их, этих задушевных бесед, и теперь уже не будет никогда!

А собственная дочь приходит из школы и, захлебываясь от возмущения, торопится рассказать:

– ...И тогда у мевия шней придурким, и те леагид какие-то штуйот! («И тогда он привел двух придурков, и те стали говорить какие-то глупости».)

...И все-таки я кайфую. Потому что мне невероятно повезло: жанр, в котором протекает жизнь этой страны и этого народа, абсолютно совпадает с жанром, в котором я пишу. Я затрудняюсь его определить: трагикомедия? печальный гротеск? драматический фарс? лирический памфлет?

В записных моих книжках нет живого места. Они ломятся от записей.

Каждый день со мной что-то происходит, или я становлюсь свидетелем события, сценки, происшествия, из которого «не отходя от кассы» можно состряпать что душа пожелает – хоть рассказ, хоть пьесу.

А какие типы вокруг меня, куда ни кинь взгляд: хоть из окна собственной квартиры – на двух оживленно беседующих дворников-бедуинов, – хоть на экран телевизора, где последними словами костерят друг друга два члена Кнессета (тема обсуждения, между прочим, – закон о введении продленного школьного дня, что может быть невиннее? Впрочем, цирк, ежедневно транслируемый с заседаний Кнессета, – тема отдельного разговора).

Словом, я кайфую: я – козел в огороде, свинья в луже, волк на псарне, лисица в курятнике и повеса в густонаселенном гареме. Наиболее часто испытываемое чувство: охотничий азарт и сладкое замирание сердца при созерцании сценки, или типажа, или просто какой-нибудь дивной рожи, словно перенесенной на иерусалимскую улицу из фильмов Феллини...

...Я работаю в Тель-Авиве. Следовательно, езжу. Выезжаю из своего Маале-Адумим – дивного городка под Иерусалимом – утренним шестичасовым тель-авивским автобусом. И

каждую неделю наблюдаю на своей остановке одну и ту же сцену: величавый седобородый старик, похожий то ли на ямщика в подпоясанном армяке, то ли на Санта-Клауса в еврейском исполнении, поджидает автобус с огромным и, судя по всему, очень тяжелым чемоданом.

Когда автобус подъезжает, старик открывает багажный отсек и, кряхтя, впихивает в него чемодан.

На центральной автобусной станции Тель-Авива, куда прибывает наш автобус, он первым выходит, достает маленькую складную тележку, открывает багажник, так же кряхтя, вытаскивает оттуда чемодан, водружает его на тележку. Затем несколько мгновений его шляпа реет над толпой, и я теряю его из виду. Тороплюсь – мне в другую сторону.

Два года я езжу с этим загадочным стариком. Два года ломаю голову над тайной загадочного чемодана: куда он его везет каждую неделю? И что может быть в чемодане?

И вот вчера утром, в тот момент, когда старик доставал из багажника таинственный чемодан, случилось следующее: то ли ремень лопнул, то ли старик затянул его плохо, но чемодан неожиданно раскрылся и упал. Из него посыпались деньги.

Нет, не пачки тысячных банкнот. Монетки в десять и даже в пять агорот, которые люди уже и за деньги не считают. Короче: стариковский чемодан оказался битком набит медяками. Но самое интересное не это.

Тотчас какие-то две солдатки, какой-то панк с гребнем на бритой башке, какой-то приличный господин с чиновничьим кейсом бросились помогать старику подбирать раскатившиеся по асфальту медяки.

Минут за пять подобрали, помогли затянуть на чемодане ремни, установить его на складной тележке. И разбежались по своим делам. И старик удалился, как обычно, в сторону эскалатора – его черная шляпа мелькнула над толпой и сплыла по эскалатору вниз.

Я же стояла в снующей вокруг утренней толпе и пыталась понять – не спятила ли я окончательно в этой сумасшедшей стране?

Или это нормально – каждую неделю возить в Тель-Авив чемоданище с медяками? Может, это такое хобби? Или я все-таки спятила?

Или спятили все эти люди, которые, глазом не моргнув и не задав старику ни одного вопроса, с деловым спокойствием бросали подобранные монетки на кучу медяков в раскрытом чемодане, похожую на бутафорские сокровища Али-Бабы? А полицейский, черт возьми, который стоял неподалеку и внимательно жевал питу, – он тоже нормален?

Словом, целый день я была сама не своя, пока, возвращаясь в Иерусалим, не встретила в автобусе одного своего знакомого, историка и публициста, живущего здесь уже много лет. В смятении я поведала ему об утренней истории с чемоданом медяков, внимательно следя за выражением его лица.

– Что это было, что?! – умоляюще спросила я.

– Это инкассатор, – невозмутимо объяснил мой знакомый. – Ты, конечно, заметила повсюду – в магазинах, в учреждениях, в синагогах и даже в школах – маленькие такие пластмассовые коробочки для пожертвований? За неделю они наполняются, и в обязанность твоего абсолютно незагадочного старика входит везти эти пожертвования в центр, в Тель-Авив. А затем уже этими суммами распоряжаются специальные люди... Кстати, – добавил он, – на такие деньги в конце прошлого – начале нынешнего века была выкуплена у арабских шейхов большая часть земли Израиля. Да-да, вот в такие коробочки, на которых было написано «На выкуп Эрец Исраэль», евреи всего мира жертвовали деньги – не только медяки, разумеется, но и медяки тоже...

За окном автобуса простирались пахотные земли долины Латрун – это здесь в сорок восьмом году, в Войну за независимость, погибли сотни мальчиков, уцелевших в нацистских лагерях смерти. Их бросили в бой прямо с борта корабля, доставившего в Палестину бежен-

цев из послевоенной Европы. Они не умели стрелять и не понимали боевых команд, потому что не знали иврита.

Они знали идиш. Или немецкий. Или французский. Или русский. Но не иврит. Просто у них не было времени выучить этот свой язык. И вот здесь, в бою под Латруном – в знаменитом бою под Латруном, который изучают во всех военных академиях мира, – погибли эти мальчики, вторично выкупив, на сей раз своей кровью, эту вот землю. Коллективным совладельцем которой являюсь, оказывается, и я.

...Я кайфую. Даже когда вижу нечто недостойное, но колоритное, яркое, театрально-кинематографическое. Вероятно, это наслаждение возникает от чувства адекватности жизни вокруг моим ощущениям и пристрастиям, моей жадности к этим фарсовым, пиковым ситуациям. Порой за голову хватаюсь – боже, куда я попала! – а все равно кайфую и твердо знаю, что мне повезло.

Показывают очередное заседание Кнессета. Каждую минуту порываюсь плюнуть и выключить телевизор. Позор на всю страну – сцепились два депутата: лидер крайне правой партии и один из лидеров арабов-коммунистов.

– Ты подлая бесстыжая рожа! – кричит крайне правый.

В ответ на это араб демонстрирует непристойный жест и злорадно отвечает:

– Мы вас всех за яйца держим!

Возмущенные вопли депутатов, чуть ли не визг женщин, телекамеры крупным планом показывают потные красные лица готовых кинуться в драку оппонентов.

Я выключаю телевизор и едва ли не с отчаянием думаю: повезло, ничего не скажешь – я живу в низинах фарса!..

И другое: чудовищный террористический акт, взрыв в центре страны, в месте сбора солдат, возвращавшихся на свои базы после субботнего отпуска.

Парализованное ужасом население приковано к экранам телевизоров. Каждые несколько минут – новые сводки о числе погибших мальчиков и девочек, и все – восемнадцати, девятнадцати, двадцати лет...

Мой солдат обычно возвращается на свою базу той же дорогой, но на эту субботу его не отпустили домой за какую-то провинность.

(Кто и когда вам сможет объяснить – за что и почему человеку вторично бывает подарена жизнь!)

С утра до вечера не выключаем телевизор. На месте взрыва работает специальная бригада – религиозные евреи в черном, ребята из похоронной команды, – они собирают в пластиковые пакеты части тел, подобранные вокруг гигантской воронки.

«Не дай бог никому увидеть то, что вижу я», – говорит журналисту один из этих людей.

Камера выхватывает одинокий солдатский ботинок на земле.

Точно такие же ботинки стоят по субботам в прихожей у меня дома.

А вечером по каналу телевидения Германии показывают кадры, не вошедшие в израильские сводки новостей: на место взрыва прибывает в вертолете премьер-министр. И кто-то из военных, в забрызганной кровью форме, кричит ему поверх голов охраны:

– Если ты офицер, пойд и застрелись!

И это – последнее, что может на сегодня выдержать измученное сердце. Я выключаю телевизор и думаю – мне повезло: я живу на вершинах трагедии.

Противостояние

Обычное мое рабочее утро – я отправляюсь в Тель-Авив с иерусалимской автостанции. Подъехавший автобус осаждают солдаты из бригады «Голани». Их много, все они добираются на свои базы после субботней побывки.

Забрасывают тяжелые вещмешки в открытые багажники и заскакивают в автобус с обеих дверей.

Небольшая очередь из штатских относится к этому довольно смиренно: ничего не попишешь, солдатам нужно вовремя прибыть на базы (черточка, отлично характеризующая гражданские приоритеты).

И в это время за моей спиной негромко произносят:

– Эти «Голани» думают, что автобус подан для них. Такие наглые...

Я украдкой оборачиваюсь – так и есть: за мной стоят двое в форме летных частей. Ну конечно – эту фразу не мог произнести никто из штатских, для которых Армия Оборона Израиля – несмотря на вспыхивающие время от времени в средствах массовой информации общенародные разборки по поводу того или иного армейского скандала – является одной из священных коров. Только эти двое, тоже носящие форму военнослужащих, но – другого цвета. «Эти “Голани”!»

...Одна из бесчисленных вариаций известного анекдота о еврее, который попал на необитаемый остров и умоляет высшие силы выстроить ему на острове две синагоги. Зачем одному еврею две синагоги на необитаемом острове?! Как – зачем, обижается он: в одной я буду молиться, зато в другую – ни ногой!

В нашем ташкентском дворе жила одна еврейская семья: мать и сын.

Более громкого, более скандального семейства я за всю свою жизнь не упомяну.

Из распахнутого (южный климат) окна каждый день разносились истеричные вопли. Соседи возмущались, пытались их мирить, жалели их, наконец.

– Как же так! – говорили, качая головами. – Вы же родные люди! Неужели нельзя договориться?

Сын патетически выбрасывал руку в окно и кричал:

– С Китаем можно договориться?!

В Израиле я вспоминаю это семейство довольно часто. Мать и сын, родные люди. Неужели нельзя договориться?!

Противостояние – одна из характерных черт общества, национального характера. Вот эта самая библейская жестоковийность. Непримируемость. Противостояние по всем силовым линиям: религиозные-светские, правые-левые, сефарды-ашкеназы... А межобщинные отношения! Про них я уже и не говорю.

Не так давно мне пришлось выступать на радио. Я долго отбрыкивалась от этой затеи – живу далеко, в Тель-Авив приезжаю дважды в неделю на работу и, признаться, не слишком жалею этот город, всегда тороплюсь вернуться домой, в свои Иудейские горы.

Но в конце концов меня уломали. Тем, что пришлют за мной на работу такси, а после записи передачи на такси же и отправят.

И действительно – когда я вышла из подъезда, машина уже стояла. Таксист – пожилой грузный человек с полным загорелым лицом. Типичный тельавивец – болтлив, разговаривать начинает, едва ты потянешь на себя дверцу машины.

– Садись, садись, мотэк... На радио? С такой женщиной – хоть до ливанской границы. А что ты там будешь делать – на радио? А-а... И что – ты по-русски будешь говорить? Смотри, что я тебе скажу: вы, русские, молодцы. Не успели приехать – и радио себе полу-

чили, и телевидение, и льготы всякие. Нет, ты не думай, что я со зла, – правильно! Этих вонючих левых, это правительство – вот так надо держать! (Показывает – как: сжимает кулак перед моим носом, выкручивая руль одной левой)... Вы молодцы, вы еще всем нам вставьте. (Дело происходит до выборов, и он еще не подозревает – до какой степени он прав и до какой степени «мы» «им» «вставим» – семь мандатов в Кнессете!)... А где ты живешь? Где-е? О, это прекрасный городок, знаю, слышал. Главное – чтоб эти вонючие левые не отдали его арабам, с них станется, я их знаю, я их с сорок девятого года знаю... Откуда? Из Болгарии... Все войны, конечно, и оба сына, как положено, а как же! Эти вонючие левые долдонят – сколько можно, мол, воевать! А я говорю – сколько потребуется, столько и нужно.

А покажешь, что ты устал, – тебя затопчут. Это мусульмане, мотэк, это не шведы... У меня младший братишка погиб в Войну Судного дня.

Думаешь, это не болит? Болит, а как же! Но это Израэль, мотэк, в Торе написано: жизнь в Эрец-Израэль дается страданиями. А как же.

Вот этот парк видела, что проехали? Песок был пять лет назад... Холон – знаешь? – я там живу, – семнадцать лет назад один песок вокруг. Машина к дому подъехать не могла, колеса проворачивались. А Тель-Авив? Да что говорить!.. Ну, будь здорова, приехали.

Вот тут в путевке напиши: время и адрес... – И прежде чем я захопываю дверцу машины, он наклоняется и говорит: – Смотри, мотэк: ты там на радио скажи русским: голосовать надо за Ликуд, пусть все голосуют за Ликуд, а то эти вонючие левые продадут арабам страну вместе с нашими потрохами!

... После передачи выхожу на улицу – меня уже ждет такси. Водитель – пожилой, сухощавый, загорелое худое лицо в длинных морщинах. Типичный тельавивец.

– Здравствуй, здравствуй, мотэк. Куда? Такую женщину – хоть до иорданской границы... Не волнуйся, знаю. Я по этим улицам, мотэк, с сорок девятого года привык колесить... Из Румынии... А ты где живешь? Где-е? Слышал, что красивое место. Нет, сам не был, не люблю, знаешь, эти поездки на «территории». Что нам – мало места для жизни здесь? Надо отдать наконец эти земли, отделаться от этой тяжелой проблемы, чтоб голова не болела. Смотри, мотэк, что я скажу, – с арабами надо мириться. Хотя эти вонючие правые экстремисты вопят на весь мир об опасности, я тебе так скажу – арабы уже не те, мир изменился, все меняется... Надоело воевать. Я воевал, три сына моих воевали – что, внукам тоже идти под ружье?

Сколько можно? Нет, я тебе скажу – правильно наше правительство дело ведет... А ты не обижайся, вы все компенсации получите, виллы постройте... Там, я слышал, много русских. Русские, не обижайся, мотэк, – ребята хваткие. Все схватить успели, еще в правительство захотят... Наверное, так и надо. Вы приехали в готовую страну, все у нас сегодня есть. А мы вот здесь, неподалеку, жили – за водой в очереди каждое утро стояли. Питьевую воду в бочках привозили, не было питьевой воды. А сейчас – все есть, и правильно. И дальше только лучше будет, потому что правительство мир с арабами заключит... Вот ты где работаешь, мотэк? Да?! Так ты каждый день должна в газете писать, чтобы все русские за Аводу голосовали, только за Аводу! А то эти вонючие правые экстремисты опять нас воевать заставят!..

Представителю любой общины Израиля кажется, что другие общины являют собой некий идеологический монолит. Отсюда все местные «эти русские!», «эти марокканцы!», «эти англосаксы!»... Достается всем. Хотя надо признать, что последние год-два именно «русская» община подвергалась в обществе и в средствах массовой информации настоящему остракизму.

Отлично помню момент, когда спустя несколько минут после убийства Ицхака Рабина все «русские» кинулись звонить друг другу. И почти у каждого первым вопросом было:

- Кто он, кто?!
- Какой-то парень, израильтянин, – ответила я.
- Кто?! – чуть ли не в истерике задал мой друг тот же вопрос.
- Студент университета.
- Да, но кто он, кто?!!
- И я наконец поняла вопрос.
- «Йеменит», – сказала я.
- И мой друг шумно выдохнул в трубку.
- Слава богу! – произнес он, мягко говоря, бестактно.
- Но я знала – что он имеет в виду: слава богу, что не «наш»...

«Наш»... «не наш»... Да что ж мы – только на время погрома одним народом станем! Помню, во время войны в Персидском заливе воздушная тревога застала меня посреди рынка. Я, согласно инструкции, забежала в одну из лавок. Это был крошечный ресторанчик, «Шепудия», принадлежащий типичному марокканскому еврею. А марокканцы-то именно «русских» на дух не выносят по многим причинам, не место перечислять – каким. Забежала я в ресторанчик, надела противогаз и так, вместе с хозяином и несколькими посетителями, отсидела воздушный налет в герметизированной комнатке за кухней.

Когда прозвучал сигнал отбоя, я спрятала противогаз в коробку и собиралась уже идти, но тут хозяин – очень он был живописен в своих золотых цепях на толстой шее и на запястьях – сказал:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.